

ТАТЬЯНА ЗАЛЕССКАЯ

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

МОСКВА
2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемые читателю воспоминания написаны моей мамой, Залесской Татьяной Владимировной и относятся к временам предвоенным и к событиям, которые произошли с ней и с её семьёй в годы войны; это самые важные, самые значимые годы в истории нашей страны, и не только нашей. Не случайно в год празднования шестидесятилетия Победы предпринимались попытки пересмотреть её результаты, вернее — отношение к ним... Но для нас, родившихся в годы войны к событиям тех лет совсем особое отношение. Мои ровесники тоже в своём роде участники войны — каждый из нас хранит семейную, наверняка драматическую историю своего появления на свет, со слов своих родителей, естественно.

Моя мама — ровесница революции — успела в девяностые годы свои воспоминания записать.

Рискую привести одну парадоксальную цитату: «Психология народа не может быть понята по его литературе. Литература отражает только отдельные клочки национального быта... Русскую психологию характеризуют не художественные вымыслы писателей, а реальные факты исторической жизни... Всякая литература живёт противоречиями жизни, а не её нормальными яв-

лениями» — так говорил, и говорил неоднократно, надеясь быть услышанным видный представитель русского Зарубежья Иван Солоневич. Для меня ключевым словом в этой цитате является слово «нормальный».

Мама писала свои воспоминания в том возрасте, когда возникает естественное желание вспомнить самые значимые события собственной жизни, такие воспоминания пишутся для детей и внуков, без оглядки на общественное мнение, на господствующие идеологические тенденции и подоплёки... В этом и есть главная ценность этих воспоминаний: в год, которым мама начинает воспоминания, ей не было и двадцати пяти, моложе чем сейчас моя дочь...

Конечно, мне трудно было читать их объективным взглядом — ведь речь идёт о начале нашей семьи, о моём рождении...

Пусть читающий их вспомнит собственную историю и поспешит расспросить своих родителей, если это ещё возможно, потому что только через совокупность многих отдельных, частных историй можно постигнуть подлинную историю страны.

Любовь Турбина





В.И. Полосина, 1909 г.

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

*Моим детям
Любови, Наталье, Василию*

Моя мама, Вера Ивановна Полосина, в замужестве Залесская, родилась 13 октября 1887 года в Москве. В семье она была третьим (из оставшихся в живых) ребенком.

Ее мать, Пелагея Захаровна Полосина, урождённая Головачева, происходила, по-видимому, из бедной семьи, — по её рассказам, она и сестры так уставали за шитьем, что «бывало, полезу под кровать за упавшей катушкой да там и вздремну немного...». Вероятно, мать их, Мария Яковлевна Головачева брала заказы на шитьё, тем и жили.

Где бабушка познакомилась со своим будущим мужем, Иваном Полосиным — мне неизвестно. Знаю понаслышке, что он был родом из Арзамаса. Красивый, неглупый, но, конечно, из очень бедной семьи. Отправился в Москву «искать счастья». Как складывались эти поиски — опять-таки не знаю. Преступление, что не расспросила об этом в свое время, если не бабушку, то тетю Нюту.



Ко времени маминого сознательного возраста он был управляющим у богатого купца Беляева, и квартировали они тогда в районе Лубянской площади. Вероятно, жили неплохо.

Но грянула беда: Иван простудился, образовался флюс, на него вовремя не обратили внимания, дальше-больше, получилось воспаление надкостницы, а от нее — общее заражение крови. Стало ясно, что он уже не встанет... У них с бабушкой было тогда уже шесть человек детей — Шура, Нюта, Вера, Сережа, Вава (Иван), Лена — и бабушка была беременна седьмым: это была любимая моя тетя Маруся. Всё это случилось 12 февраля 1900 года, сорока лет отроду.

Не могу даже представить себе, каково было ей!.. Мои воспоминания о бабушке Поле немногочисленны. В моем детстве, с шести лет мы жили в подмосковном поселке Голицино; два-три раза в год меня привозили к ней «на поклон» в Москву на Арбат, где бабушка в то время жила (этот дом — 27/47 на углу Арбата и Староконюшенного переулка и эта комната в нем — существуют и поныне).

Так вот, во время этих приездов я запомнила бабушку величественной, несколько чопорной старухой, с наколкой на голове, в чем-то длинном, но всегда очень тщательно одетую, недоступную — дети ее утомляли. Я, честно говоря, в то время ее недолюбливала и осуж-

дала («подумаешь, чего это все с нею так носятся») — имелись в виду ее взрослые дети — мой дядя и тетки. Еще была молодая девушка — домработница Настя.

Но сейчас понимаю, каково ей пришлось после смерти мужа! Просто оторопь берёт...

По рассказам мамы знаю, что Дмитрий Федорович Беляев*, хозяин дедушки, если можно так выразиться, принял в них большое участие. Конечно, из хорошей квартиры пришлось переехать, в худшую — мама вспоминала, как ее братья-погодки, Сережа и Вава, мальчики 10-11 лет, чтобы утешить бабушку, сообщали: «мамочка, когда шкаф большой несли, то еще по 2 см на лестнице до стены было, честное слово, не такая уж узкая лестница...»

Через какое-то время бабушка с четырьмя дочерьми — Нютой, Верой, Леной и появившейся 10 июля 1900 года маленькой Марусей оказались в двух комнатках Вдовьего дома на Большой Якиманке. Номера дома не помню, но во времена моей молодости я его еще могла отличить, теперь не уверена. Мальчиков же, Сережу и Ваву, устроили «живущими», как тогда говорили, в младше классы Коммерческого училища — существовали такие средние учебные заведения, наряду с классическими гимназиями и реальными училищами — в последних был, кажется, технический уклон.

* На его средства был поставлен на могиле дедушки Ивана Гавриловича Полосина памятник на Ваганьковском кладбище.

Вдовый дом был настоящий женский монастырь. Мальчикам старше восьми лет там жить не разрешалось. Посещать мать им можно было только по воскресеньям в весьма ограниченные часы.

Кухня была громадная, в плите особые духовые шкафчики для каждой семьи. Телефон где-то внизу, откуда приходил дурной малый и вызывал: «к тырлифону». Комнатки были настолько крохотные, что все пространство было забито двумя кроватями и под ними — баулами, шкатулками и шкатулочками; мама, на которой лежала уборка и мытье полов, говорила, что передвинутые вещи надо было устанавливать обратно в строго определенном порядке, иначе, если перепутаешь, ничего не помещалось... Кровати предназначались бабушке и младшим дочерям, а Нюта и Вера ежевечерне раскладывали походные раскладушки, которые утром убирались.

В этих условиях мама прожила до самого замужества, до 1910 года.

Учились Вера и Нюта в гимназии, расположенной страшно далеко от дома — в районе Кудринской площади. Видимо, это было определено свыше — куда удалось устроить на бесплатную стипендию (обучение тогда было платное).

Ходили они, как правило, пешком. Ведь это очень длинный путь! С Якиманки на Малый Каменный мост,

затем Большой Каменный мост, мимо Манежа на Большую Никитскую и всю Большую Никитскую, пройдя Никитские ворота, до самого конца — они ходили пешком, хотя тогда уже существовали конки: вагончики наподобие миниатюрных трамваев, которые тянули лошади. Может быть из экономии, а может быть, и потому, что не было подходящего маршрута, как и сейчас нет.

Мама вспоминала, что зимой, в сильные морозы, когда они, до костей промёрзшие, добирались до гимназии, вдруг оказывалось, что занятий не будет, и начальница, как называлась тогда директор гимназии, никогда, бывало, их не отпустит, не обогрев как следует, не напоив чаем и не давши отдохнуть. Мама вспоминала об этом неоднократно, и с большой благодарностью. Кстати, две подруги мамы, которых и мы, дети мамыны, знавали, были её бывшие соученицы: Мария Петровна Баркова (ее семья жила как раз на Кудринской площади, рядом с гимназией) и Мария Александровна Соболева, необычайно миниатюрная особа. Странно было видеть их вместе — мама была высокой, примерно 170 см. Из маминых же рассказов знаю, что она не любила быть втроем — «иду, бывало, с Марусей, и кто-то третий присоединится — я сейчас же вскочу на конку, якобы вспомнив, что надо спешить». Это свойство ее полнотью передалось мне...

Все свое детство я слышала рассказы о том, как они всем семейством жили на даче — всегда в одном и том же месте, где начали жить еще при отце. Снимали избу в деревне Каменка (4-5 верст от станции Крюково), ехали основательно, везли мебель, вплоть до пианино, на котором училась играть тетя Маруся, а может быть, и до нее кто-то.

Брали и такое, как, например, «четверть красного вина», на случай болезней желудка — бабушка ухитрялась за всеми следить тщательно, даже не ленилась пойти в лес, если говорилось, что желудок там подействовал.

Это пишу в назидание сегодняшним мамашам, которые тяготеют одним ребенком.

Везли «сухарики, сушечки» и прочий ассортимент к чаю. При скромных (и весьма) средствах, бабушка, видимо, была образцовая хозяйка. Жили там, по рассказам мамы, очень весело — во всей деревне всегда одни и те же семьи, хорошо знакомые между собой — связи со многими у нее сохранились на всю жизнь. В субботний полдень приезжали из Москвы главы семейств. От станции они брали извозчиков. С собой везли лишь пакетики со столичными гостинцами, поскольку все продукты, вплоть до мяса, поставляли своим постоянным клиентам бойкие постоянные разносчики.

«Огурцов, огурцов, огурцов, капусты, лук-у-у», — этот возглас и я еще помню по Голицыну.

В то время любимой забавой подростков, молодежи были так называемые «гигантские шаги». Почему они теперь совершенно исчезли? Так вот, еще отец мамин соорудил им такие гигантские шаги, и мама рассказывала, как она легко знакомилась с приезжими детьми: «Здравствуйте! Пойдемте к нам на гигантские!..» Вот и все! Характер у мамы был приветливый, мягкий, ее все любили — и домашние, и знакомые. Она говорила: «Начнет мне мама выговаривать за провинность, а я ее в рот зацелую — она рассмеется, тем дело и кончится». Мол: «Вера, на тебя сердиться нельзя...»

А как заманчиво они рассказывала об играх тех лет. «Казаки-разбойники» особенно поражали наше воображение! Затем лапта, крокет, городки для более старших; потом походы в лес за ягодами, причем местное население, чтобы отвадить их от сбора ягод, распускало слухи, что «видели, мол, беглого каторжника» в лесу; однажды одна из девушек-дачниц выскочила из кустов, изрядно напугав младших — те приняли ее за каторжника.

В дождливую погоду, надев галоши и плащи, шли всей компанией гулять по Рукавишниковскому шоссе за несколько километров, чтобы вернуться только к обеду. И как бабушка ухитрялась кормить такую семью?

Правда, по рассказам, у нее всегда была кухарка в помощницах, особенно при отце. Но надо ведь и продуктов напастись! Мальчики — подростки... Наверное, к этому времени относится их фраза: «мамочка, ты лучше нам побольше, хоть и потухлей!» — бабушка была необычайно щепетильна в смысле свежести продуктов. А ведь без холодильников жили! Ледник, что ли, существовал?

Или как они тащили мыть посуду всей компанией на речку в «окаренке» (так называлась лохань для мытья посуды; я в детстве ее ненавидела!). А то в дождливое время, когда изба протекла, на чердаке ставили корыто; хозяин полез его убирать, да и вообще опрокинул на голову тех, кто в комнате, но у молодежи все это вызывало смех, шутки, веселье! Мы, слушая, завидовали... и всегда нам казалось, что все эти благословенные места, эта станция Крюково, деревня Каменка, неведомое Рукавишниковское шоссе, лес с каторжниками и речка под горой более не существуют, исчезли, как ушло в прошлое и мамино детство со всеми радостями и печальями...

Как же мы были поражены, когда однажды, жарким июньским днём 1940 года мы доехали до станции Крюково и пешком отправились в благословенную деревню Каменка...

Мы — это были дядя Ваня, мамин брат, бывший Вава, а во время поездки профессор истории Иван Иванович Полосин, его жена Ольга Васильевна, младшая мамина сестра тетя Маруся, дочь дяди Вани, долговзая тринадцатилетняя Лена и я. Почему-то ни мамы, ни моих братьев, ни детей тети Маруси не было. День был не воскресный, возможно, мама была на работе, а, может быть, она, как и многие, в частности, «Зубр», то есть Николай Владимирович Тимофеев-Рессовский (герой романа Д. Гранина под таким названием) — считала, что в места детства возвращаться не нужно, чтобы не пропало былое очарование.

Я помню, что мы прекрасно провели день, веселились, смеялись — то предвоенное лето было каким-то особенным: всюду напевали вальсы Штрауса из кинофильма «Большой вальс», который триумфально шествовал по стране. Незабываемые дни! Беспредметная влюбленность так и носилась в воздухе...

И кому бы могла тогда в голову прийти мысль, что через год с небольшим в этих мирных, тихих местах станут хозяйничать немцы, а народ весь будет терпеть невероятные бедствия...

Но я отвлеклась от маминого детства. Что мне всегда было непонятно, и так осталось непонятым до конца — почему мама, которая и в детстве, и в девичестве была очень хорошенькой, всегда была такой не-

уверенной в себе? По ее рассказам выходило так: вот они, все дети, и, видимо, еще кто-то из друзей смотрят «Альбом гоголевских типов» Боклевского. И мама заранее бледнеет и знает, что как только дойдут до «корявой старушонки, похожей на сушеную грущу», все будут тыкать пальцами в нее и показывать ей язык... Почему? У нее были большие карие глаза, красивые светлые волосы, румянец во всю щеку, хотя она отличалась неважным здоровьем, и румянец был следствием близко расположенных кровеносных сосудов — так объяснял бабушке врач. Почему же ее дразнят «корявей старушонкой»? Непонятно.

В детстве, возможно, в этом повинна была ее сестра Нюта, — по характеру полная противоположность маме, строптивая, упрямая, скандальная, всегда умеющая настоять на своем. Она была старше мамы всего на полтора года, но, судя по воспоминаниям, забрала в семье большую власть. Ее побаивалась и бабушка*. Вернее, не хотела с ней связываться, тогда как мягкая, послушная Вера была ее любимицей. Нюта внешне была несравненно хуже мамы, но крайне самоуверенная, и знала себе цену. Всегда я слышала притчу, как она, девочкой одиннадцати лет, настаивала, чтобы ей дали категорический ответ: «кто лучше — я или цыганка?» (имелся в виду портрет красавицы-цыганки на стене). Или еще: дворник дома, где они жили еще при отце,

называл, естественно, всю детвору по имени: Вера, Сережа, и т.д., а ее, то есть Нюту, называл всегда «Анна Ивановна». И когда они его об этом спрашивали — почему? — отвечал: «Нельзя-с! Очень строги-с». Да, доставалось, наверное, в детстве маме от сестры.

Интересно, что так это и осталось на всю жизнь. А уж когда начался период юношеской влюбленности и ухаживаний!.. Тут уж нетерпимость сестры к маме достигла вершин. Соперничеству с ее стороны не было границ.

Мама была в последнем классе гимназии, когда наступили события 1905 года. Человек молодой всегда подхватывает передовые идеи своего времени, и вот она оказалась подхваченной этим движением. Слышала от нее неоднократно рассказы, как они (молодежь) участвовали в похоронах Николая Баумана, вылившихся в мощную демонстрацию против реакции. И что самое примечательное — их мать была с ними, не отпустила Веру одну с молодежью, боялась за них... Но какво было ей? Ведь у нее еще оставались маленькие дочери. А дело было далеко не шуточное. Шли плотно сомкнутыми рядами, плечо к плечу. Как по коридору, образованному конными казачьими частями с обнаженными

* «Раньше рожали дома и вот как, — вспоминала воспитывающаяся с ними Анна Федоровна, — бабушка в первый же день после родов нашлепала Нюту: видно, довела...»

ногайками... В любую минуту все это могло обрушиться на демонстрантов.

Окончила гимназию мама, очевидно, в 1906 году. И, ничего не говоря дома, сама начала устраиваться на работу, искать себе место учительницы. Я помню, как она рассказывала:

«Получает мама (бабушка Поля) письмо на имя Веры Ивановны Полосиной — городской учительницы (так стояло на конверте). И удивляется: что бы это значило?».

А вышло так, что уже с нового учебного года она (мама) стала работать учительницей начальных классов в городском, т.е. начальном училище. Днем была работа, а вечерами, естественно, время проводили весело. Всевозможные танцевальные вечера, студенческие собрания, вечеринки, пикники в летнюю пору...

Мелькали имена поклонников: некий Ванечка Андросов (известный ловелас, как намекали — человек опасный). Он на даче, приглашая на прогулку девиц, имел обыкновение читать стихи «хочу быть дерзким, хочу быть смелым...» Бальмонта, других подобных авторов. Девушки хихикали, краснели, но дальше этого дело, по-видимому, не шло. Были и знакомые юных братьев, и совсем в то время еще мальчик Васенька Яковлев — будущий известный художник — смотрел на красивую Верочку с обожанием, проводя время за выши-

ванием шелками, которые в мотках висели у него на шее. Слышала я и о Леше Владиславлеве — это, по-видимому, был уже претендент посерьезнее, во всяком случае — был влюблен и мог рассматриваться как жених. Этот Леша — уже человек в возрасте, лет пятидесяти (а то и с лишним), приходил к нам на Арбат, когда я уже была студенткой — был у мамы такой период попытки возобновления девичьих знакомств. Они сидели, вспоминали, у мамы поблескивали глаза, а мы (дети мамы) незаметно переглядывались иронически, фыркали исподтишка. Про меня он сказал, что мне далеко до мамы — я его за это возненавидела...

Но вот на одном из танцевальных вечеров, кажется, в Дворянском собрании (ныне Колонный зал Дома Союзов), где-то весной 1909 года мама встретила с моим отцом, Владимиром Залесским. С кем была на этом балу мама — не знаю, но помню, что подвел отца к ней и познакомил некто Василий Иванович Голубков, которого они поэтому звали далее «наш сват»; интересно и ее признание, что когда она увидела подходящего к ней Владимира Евгеньевича, какой-то внутренний голос шепнул ей: «это он»...

По-видимому, мама сразу произвела на отца сильное впечатление. В первый же вечер, провожая ее, он спросил: «кто в вашем оркестре играет первую скрипку?» — на что она ответила какой-то шуткой. Слышала

еще, что намерения у него были самые безотлагательные — скоро он побывал у бабушки, сделал формальное предложение и торопил со свадьбой.



В. Е. Залесский, отец Т.В. Залесской

Бабушка была возмущена его словами: «я нищий студент» — отец в то время был на 3-м или 4-м курсе Высшего Технического Училища, ныне МВТУ им. Баумана, его родители жили в Смоленске и были, в общем, обеспеченные люди — дедушка Евгений Герасимович Залесский владел сколькими-то десятинами земли в сельце Ивановском под Смоленском. Правда, он сам лично работал на земле, не покладая рук, и с помощью наемных рабочих снимал неплохие урожаи. Но отец, делая предложение, говорил только сам за себя — студент.

Видимо, в планы мамы не входило так сразу выходить замуж, хотелось еще погулять с женихом. Она всегда рассказывала: «я, желая проверить свои и его чувства, укатила в Крым со своими коллегами Тонечкой и Симочкой» по каким-то путевкам (или дикими, как теперь говорят). На снимках в Крыму этого периода мама выглядит прекрасно — довольная, веселая, беззаботная... И действительно — это и была ее лучшая пора...

Было и дальнейшем приятное для молодой пары время — осенью, зимой, предшествующей женитьбе. Владимир Евгеньевич заходил за мамой в школу, и они шли гулять, ходить, бродить — влюбленным в Москве есть что посмотреть и где побывать...

Семья мамы по-прежнему жила во Вдовьем доме; в ответ на недовольство бабушки тем, что мама опаздывает к обеду, она (мама) принесла две чудесные маленькие эмалированные кастрюлечки, примерно 1/2-литрового объема — одна голубая, другая синяя — сказав: «вот, мамочка, пожалуйста, отливайте мне в одну суп, а в другую — второе, и я буду обедать в любое время, когда вернусь». Отвоевала себе свободу! (Я происхождение этих кастрюлечек узнала незадолго до смерти тетушки Анны — она сказала мне, для чего они предназначались. Мне они стали особенно дороги, но!.. Увы! Они уже были дырявые, и их выбросили).

Венчание мамы с отцом произошло 10 июня 1910 года в церкви «На Бережках». Теперь этой церкви, наверное, нет и в помине, а во времена моей московской жизни (с 1932 года вплоть до начала войны) мы частенько видели, гуляя с мамой, где-то вдалеке, на Смоленской набережной золотился купол небольшой церквушки, и мама, указывая на нее, говорила: «Вот здесь мы с вашим отцом венчались». Мы как-то пропускали это мимо ушей и только боялись, с эгоизмом молодости, чтобы мама не впала в грустное настроение, и нам, соответственно, не пришлось сочувствовать с печальными лицами... Для нас с Сашей все, связанное с отцом, был пустой звук; настроение мамы по этому случаю мне было известно, но тем более я старалась не думать об этом и мысли эти отгонять...

Федя — тот другое дело. Федя хорошо помнил отца, но он всегда был загадкой, закрытой книгой для всех нас. Он умел быть всегда в хорошем настроении, всегда был ласков и внимателен к маме (мы с Сашей его прозвали «любименький сынок»). Да и было за что маме его любить. Он был для нее всегда и во всем поддержкой и опорой. В сущности — он с юных лет заменял нам отца...

Теперь я простить себе этого равнодушия не могу! Ну, что стоило сказать: «мамочка, подойдем поближе, покажи нам эту церковь, расскажи, как все было». Но нет! И вот — все это навеки утрачено...

Наверно, уже и тогда церквушка эта была закрыта и в ней устроен какой-нибудь склад или просто помойка — по обыкновению тех лет... Но мы бы хоть знали точно место, услышали бы много подробностей... Почему именно была выбрана эта церквушка скромная, в стороне от больших дорог и суетной толпы? Тогда принята была среди интеллигенции скромность свадебного обряда, старались как можно меньше привлекать внимания к этому, в сущности, интимному событию. Ведь это, по сути дела варварский обычай — делать из свадьбы шумный балаган, привлекать нездоровое любопытство близких и посторонних, переносить их нескромные шутки, намеки и т.д. и т.п. (К слову оказать — тетя Маня через два года венчалась где-то за городом, в совсем

неизвестной церквушке, и одета была в темно-синий английский костюм... «Мы с Юрочкой решили, чтобы очень просто». А «Юрочка», тем не менее, идя навстречу своей многочисленной родне, явился в парадном студенческом мундире на белой подкладке и во всем блеске, полагавшемся заправскому жениху.)

Говорили, что бабушка Соня — Софья Владимировна, мать моего отца и тети Мани — была огорчена, что ее дочь была «белой вороной», обойденной судьбой, что ли, не в подвенечном платье, «не то, что Верочка». У мамы было скромное, но специально сшитое из кремового бенгалина платье, в котором она венчалась. Возможности маминой семьи нельзя было сравнить с возможностями Залесских, но, тем не менее...

Как я помню в детстве эти лоскутки от маминого венчального платья! Как она говорила: «Я свое платье обрезала, вот и жизнь моя обрезалась». Оказывается, нельзя подвенечное платье переделывать.

Грустно подходить к началу семейной жизни молодой четы. В большинстве случаев, каждый получает совсем не то, что ожидал (особенно женщина); как много разочарований ждало молодую супругу в начале замужней жизни, особенно — в те времена, когда девушки воспитывались если и не в полном неведении, то в поэтически сплетенных вымыслах... Романтически на-

строенные, они особенно тяжело переживали разочарование.

Разумеется, мы не говорили с мамой на эти темы, но теперь, сама подойдя к финалу, о многом догадываясь и раньше, слыша отдельные реплики взрослых, неосторожно оброненные — читаю первый период жизни моих родителей, как открытую книгу...

...Довольно рано я услышала слово «мезальянс». Не зная, что оно означает, я как-то спросила у мамы об этом. Она заинтересовалась — кто мне сказал? Наверно, родней отца она рассматривалась, как не очень подходящая невеста. Из бедней семьи, из Вдовьего дома, не дворянского происхождения, без знакомств и связей — чем она могла импонировать Залесским? Только хорошеньким личиком и милым характером? Она и покорила этим их сына — и любовь молодых была бы совсем отгорожена от различных условностей — если бы... если бы не родня... Родня отличалась «фанаберией» (со стороны бабушки Софьи Владимировны насчитывала много поколений знаменитых, прославившихся предков). Все это никак нельзя было сбросить со счета — особенно, когда они переехали окончательно и обосновались жить в Смоленске.

Но я забежала вперед. А пока молодая чета отправилась в свадебное путешествие за границу. Где они побывали? Я совсем сравнительно недавно узнала, что

были они в Дрездене, посетили (и, может быть, не раз!) Дрезденскую галерею, привезли именно оттуда прекрасную репродукцию Сикстинской мадонны и другие, которые в связке открыток подобного рода давались мне для рассматривания во время болезни уже в голицынский период жизни. Какими невероятно роскошными, какими заманчивыми — словами не выразишь! — казались мне эти открытки! Они не только скрашивали болезнь — чтобы получить их, болеть было желанно!..

Но во времена моего детства — Боже упаси! — нельзя было даже упомянуть, что ты был за границей... Худшего криминала не было. Поэтому и рассказов об этой поездке я никогда не слыхала.

По приезде из свадебного путешествия молодые супруги обосновались в Москве где-то в районе Немецкой улицы. Отец продолжал учиться, мама — преподавать в городской школе. И опять, я слышала такого рода ее сетования — как она всегда стеснялась проявить себя и завидовала свободе, с какой держался отец.

«Поедем мы, бывало, в Петровское-Разумовское на лыжах, — рассказывала она, — Владимир Евгеньевич войдет в помещение вроде турбазы, что ли, где обогревались лыжники, потрет руки с мороза и садится за пианино играть: не то что серьезную музыку, а вальсы, что-нибудь танцевальное... И молодежь в восторге, ему комплименты и рой поклонниц вокруг», — маму это боль-

но укалывало уже тогда. Мне кажется, поэтому она, не учась музыке в детстве, начала уже будучи взрослой овладевать с упорством основами музыкальной грамоты.

Училась она и рисованию — по-моему, была воскресная школа при Строгановском училище (на базе его организовался институт им. Сурикова). Рисунки ее — больше копирование — очень недурны, они есть в моем сером альбоме.

В общем, был у нее такой счастливый период, когда хотелось развивать свои способности, заниматься самыми различными предметами, пополняя пробелы знаний в гимназические годы.

Но!.. Увы! Есть люди, которые и незначительные знания и умения способны реализовать и выявить публично («получать проценты за капитал» — как выразилась однажды тетя Маня про такое свойство), а есть такие, которые и значительные свои природные данные не умеют проявить. Мама была из тех натур, которым так и не удастся раскрыться... Получи она высшее образование, имей возможность, как многие тогда, как та же семья ее мужа — поехать за границу, попутешествовать, развить себя, возвращаться в соответствующем обществе — она была бы, наверное, незаурядным инженером (отмечали у нее такую жилку); могла бы до-

биться и значительных успехов на педагогическом поприще — педагог она была прирожденный.

К семейной жизни она не чувствовала склонности с самого начала — погубило ее хорошенькое личико... Возможность вырваться из Вдовьего дома, от сестры, от которой многое приходилось терпеть, и потом — отец, конечно, представлялся завидной партией, со всех точек зрения — толкнула ее в замужество, как и многих, многих других... Если б ее юность пришлось на первые годы после Октябрьской революции — вынесло бы ее на гребне волны...

30 мая 1911 года в Москве родился у молодых супругов их первенец — мой старший брат Федя. Ребенок был слабенький, что-то там упустили, и у мамы «перегорело молоко». Пришлось брать кормилицу; многое тут легло на плечи бабушки Пелагеи Захаровны (в смысле организации быта молодой семьи). Прожили они в Москве вплоть до 1913 года, когда отец окончил свое образование, и уехали в Смоленск.

Мама очень переживала за слабенького ребенка; правда, с кормилицей он стал быстро поправляться, и маму предупреждала бабушка: «Ну, первое слово «мама» будет обращено не к тебе, Верочка, а к той, что кормит». Но этого не случилось к великой радости мамы. В городской школе она проработала до самых родов — учебный год завершила полностью (да и тогда не пола-

галось декретных отпусков). Но после рождения ребенка она, конечно, в школу уже не вернулась — это было не принято. После замужества женщина, если и работала, то лишь в случае крайней необходимости.

Летнее время, в каникулы отца, ездили, конечно, в Смоленск. Туда же приезжали бабушка Поля с еще девочкой 12-13 лет — тетей Марусей. Ну, и конечно же — Нюта... У нее сразу же выработалось амплуа — помогать своим сестрам с маленькими детьми.

Вот тут маме, я думаю, приходилось очень много переживать. Не раз слышала я знаменитый случай, как куда-то ехали в экипаже и две матери сидели на самых почетных местах. Но, проезжая по самой фешенебельной улице Смоленска, бабушка Софья Владимировна потребовала, чтобы с нею рядом сел ее сын Володюшка, которым она очень гордилась, а бабушке Пелагее Захаровне предложено было пересесть на переднее сидение, на место менее удобное.

Рассказывала и тетя Маруся, как ей, девочке, приходилось идти на полевые работы водить лошадей — иначе крестьянские дети отказывались и ставили условие:

«Если Маруся пойдет, тогда и мы пойдем».

Но кто действительно умел всех обворожить и кого всегда выставляли на передний план сглаживать ситуацию — разворчится ли Софья Владимировна, что сено не успеют убрать или что обед недостаточно хорош —

это был дуэт: мамин брат, наш дядя Ваня, и младшая сестра отца тетя Маня — остроумные, начитанные, с милыми характерами — они всегда умели не только разрядить обстановку, но и привести всех в хорошее настроение...

Вспоминаются мне и неоднократные мамини сесования на несвободу жизни совместно с семьей мужа. Вроде и лошадей имели — но нельзя было ту же лошадь получить, чтобы съездить в Смоленск, показаться врачу -гинекологу («а вам, Верочка, очень нужно?» — и, конечно, мама не могла настоять на своем, услышав, что лошади все в работе).

Она, как молодая хозяйка, заведовала организацией питания всей семьи, как теперь бы сказали. Конечно, была кухарка, которая готовила — а она завела порядок вывешивания меню обеда. И, прочтя его, бабушка Софья Владимировна частенько комментировала: «опять сегодня телятина — фу, как надоела! Хоть бы рыбки!». За продуктами тоже кого-то посылали в город. Вообще точное количество прислуги, которую держали, мне неизвестно. Но, по-видимому, огромную роль играла в семье вынянчившая отца и тетю Маню, уже тогда немолодая женщина Арина Трофимовна Трифонова — моя незабвенная нянечка...

Такие бывали в каждой патриархальной семье того времени — незаметные, все успевающие и везде помогающие незаменимые труженицы.

Нянечка прожила с нами до 1930 года и умерла 20 июня в возрасте 83 лет; она похоронена на Захаровском кладбище под Москвой. Что мучает меня все время — на могиле ее не сохранилось креста (он исчез во время войны и туда же, в ее могилу, захоронили еще кого-то). Во время войны, уехав из Москвы, я совсем там не бывала долгие годы и, приходя на кладбище, мы с мамой и с моими детьми уже после окончания войны всегда сидели у бугорка между двух старых сосен — но почему-то так и не смогли оформить могилу её. Непонятно, почему тетя Маня не заказала ей креста, когда ставила на могилу сестры своей Наталии Евгеньевны, и свекра — Федора Михайловича Мирчинка. Но все, связанное с нянечкой на протяжении моего детства, неизгладимо из моей памяти, а последние дни ее перед кончиной и похороны я помню в мельчайших подробностях. Собственно — это и было мое первое и настоящее огромное горе...

...Смоленское окружение мамы тех лет — это были знакомые семьи ее мужа, все с такими звучными фамилиями — Лярские, Вонлярлярские, Энгельгардты... Вряд ли мама находила с ними общее по душе, да и они, по-видимому, относились к ней снисходительно-милости-

во, но не больше. Говорили ей, например: «Верочка, Вам нужно изучить себя — Вы такая красивая, но надо больше владеть своим лицом — некоторые выражения лица, некоторые движения — идут Вам больше, другие меньше». Следили за ее французским языком, который (увы) не был, наверное, так безупречен, как эти старушки призывали.

Бабушка Софья Владимировна не была, по-видимому, счастлива в семейной жизни. Что-то я слышала про дедушкины похождения (сведения относятся к началу века, когда отец мой был подростком 13-15 лет, и он даже был склонен к самоубийству из-за разлада в семье). Собственно, это было, должно быть, «обыкновенное мужское предательство», как писала в аналогичной ситуации Анна Ахматова, и с которым рано или поздно (а чаще рано!) сталкивается всякая замужняя женщина. Знаменитая мужская полигамия! Так считают мужа, совершенно не сообразуясь с тем, что самое тяжелое для жены не физическая измена, а молва, молва. В таком городе, как Смоленск, тем более шила в мешке утаить было нельзя — это не Москва...

Дедушка Евгений Герасимович был характера жизнерадостного и к хорошенькому личику невестки не был равнодушен. Шумно и шутливо приветствовал ее, приглашал пройтись на Кузнецкий мост «под шляпки подглядывать» — тогда молодые женщины носили шля-

пы с большими полями. Вообще балагурил: «Несправедливо! Приходит молодая невестка в дом — отнимает мужа, отнимает сына»... Отец мой очень любил свою мать, но, как и все молодые мужья, а затем и отцы — не всегда проявлял к ней такт и внимание. Например, мама вспоминала: «входит в комнату Софья Владимировна, хочет, видимо, с сыном словом перемолвиться, а тот ей сует поближе своего первенца, Федю: «мутька, мутька, это ж мой сын, мой сын!» — «Вижу, Володюшка, вижу», — без восторга отвечает С.В., а мама, с ее чуткостью, переживает и наставляет мужа потом: «Володя, ты с мамой поговори». Но это не ценилось, никому не было нужно. (Вообще эгоисты, люди, не чувствующие всё за других — всегда в выигрыше, всегда правы...)

От нечуткости отца приходилось переживать и маме. Когда он возвращался из гостей один (мама недомогала перед вторыми родами): «...раздеваясь, задумается, бывало, и башмак с его ноги со стуком падает, а я только задремала», — вспоминала мама. Случаи эти все очень типичны в жизни многих женщин... Родился второй мамин сын, Женечка, 6 мая 1914 года. Перед этим, осенью 1913 скончался дедушка — Евгений Герасимович, и внука назвали в его честь. Мама всегда сетовала, говорила, что этого делать не следовало. Говорят, есть примета. Так это или нет, но Женечка прожил два с половиной года и умер 5 ноября 1916-го от воспа-

ления почек (которым осложнилась скарлатина). И слышала я всегда, как после его смерти у мамы осложнились отношения со свекровью. Мамы не было дома, когда к ребенку пришел врач. Женечка в это время спал, и Софья Владимировна не захотела его будить. Это ли привело к роковому исходу болезни, или исход этот был предreshен — неизвестно, но ребенка не стало...

Был он беленький, пухлый, голубоглазый — и очень ласковый. «Когда я вырасту, я туплю большую товатку (кровать), в мы будем вместе с тобой спать», — говорил он маме. Есть фотография его усопшего — прелестный, спящий легко и спокойно ребенок...

Шел 1916 год — предшественник великих событий. Отец в то время работал на строительстве дорог вблизи «местечка» Молодечно.

Мама, очень тоскуя после смерти ребенка, поехала к нему. И вот что гласит молва: «никто не мог мне ответить, где его искать, я отправилась, волнуясь, в гостиницу, мне указали комнату: вхожу и вижу на тумбочке начатую плитку шоколада — он, он, значит, здесь он и остановился!» — вспоминала мама.

Так я и считаю «местечко» Молодечно своей родиной... Так и тянет меня жить близь этого места, так и присохла я к Крыжовке... Там же, в Молодечно, был написан маслом соседом-художником единственный портрет мамин — молодая женщина со строгим, серь-

езным лицом и углубленным в себя взглядов смотрит из темной рамы со стены в моей московской квартире.

Подхожу я к моменту, очень для меня тяжелому по многим причинам. Собственно — я и не знаю: когда это началось? Где-то все-таки именно в эти смутные годы церковь стана играть большую роль в жизни мамы. Примешивались к вопросам религии поиски точки опоры в жизни, как следствие душевного одиночества в семье. И, как ни больно мне это писать, как ни мало и поверхностно я знаю это (опять-таки по репликам и недомолвкам взрослых) — имело место увлечение мамы личностью духовного лица, игравшего заметную роль в тогдашнем церковном Смоленске — владыкой Филиппом... Он же имел на нее столь огромное влияние, что будто бы (это я уже сама слышала от мамы), она даже выступала (как под гипнозом!) с проповедью перед верующими в соборе... Говорят — он был очень красивым жгучим брюнетом, обладал талантом проповедника, умел вести за собой...

И в это же время Софья Владимировна, в разговоре со своим сыном сказала: «Володюшка, надо бы и тебе почаще сопровождать Верочку в собор, а то уже и молва идет по городу — так она туда зачастила». Володюшка послушался мать, стал бывать чаще, сблизился с нуждами, проблемами церкви тех лет (очень непрос-

тыми!) и, как мужчина, всерьез и глубоко вникнув в них — попал в переделку, что и привело его к трагической гибели... В то время как организаторы этой деятельности вышли сухими из воды, а главный из них, владыка Филипп оказался в Америке... (трагическая гибель отца описана в отдельном повествовании его сестрой Марией Евгеньевной Мирчинк и напечатана в журнале «Слово», 2003 г., 3.) А между тем шли так называемые «голодные годы» — лихие години революции, гражданской войны, разрухи... Быт семьи был очень тяжел и сложен. Маме, горожанке до мозга костей, приходилось ухаживать за коровой, которую, в силу крайней необходимости, приходилось держать. И то, что как-то удавалось кормиться, приходилось считать за счастье.

Мамина семья в Москве, бабушка, тетушки Нюта и Маруся, по-настоящему голодали, ели оладьи из картофельных очисток, жареные на касторовом масле, ну и прочее в таком роде.

Где-то вскоре после Октябрьской революции, в 1918-19 гг. они, то есть семья бабушки Поли, переехали из Вдовьего дома на Арбат, угол Староконюшенного (Арбат, д. 27/47), куда им предложил поселиться в порядке самоуплотнения профессор Петр Дмитриевич Соловьев, хирург-уролог. Он занимал превосходную квартиру в бельэтаже из 6-7 громадных комнат и 2 из них он предложил дядя Ване. Где и при каких обстоятельствах дядя Ваня познакомился с П. Д., мне неизве-

стно, но я отлично помню его — пожилой джентльмен, лучший представитель московской интеллигенции тех лет. А дядя Ваня работал тогда в Румянцевском музее.

Семья бабушки к тому времени сильно уменьшилась: умерла в 1918 году предпоследняя дочь, красавица Елена в возрасте двадцати трёх лет, оставив годовалого сына Митюшу — моего ровесника. Пропал без вести (не вернулся с войны) мой дядя Сережа, который был на полтора года старше дяди Вани. В ходе войны он попал в Алжир (он был врач) и написал, что скоро должен вернуться домой, плыть пароходом. Судьба этого парохода, дяди Сережи так и осталась неизвестной... В сумбуре, неразберихе тех лет ничего не удалось выяснить.

Бедная бабушка! Остались у нее три дочери (две из которых жили с нею) и один сын, обожаемый Вавочка, дядя Ваня. Старший сын, Александр, к тому времени то ли еще не вернулся из поездки в Америку, которую ему устроил Д. Ф. Беляев, то ли уже был не совсем психически здоров. Одним словом, с бабушкой, сестрами и братом на Арбате он не жил.

Между Москвой и Смоленском существовала тесная связь. Вряд ли маме, с такой многосложной семьей, удавалось тогда вырываться в Москву, да и дороги были слишком переполнены солдатами, беженцами, и, конечно же, спекулянтами всех рангов и мастей.

Но в Смоленске с едой было полегче и посылались посылки, с «оказией» — в поездках кого-то из семьи Мирчинк, нашей тети Маруси, поездок отца.

Мама тянула ляжку многочисленной семьи со свойственным ей стоицизмом, ее стремлением все, за что она бралась — делать хорошо. Конечно же, ее не покидала тоска по собственной деятельности учительницы. Но, чтобы найти какую-то отдушину, она устроила «школу на дому» — занималась с Федей (сыном) и еще двумя-тремя девочками из знакомых семей, проходя с ними школьную программу.

И поставила это настолько серьезно, что нянечке был дан строжайший приказ — не отрывать ее от занятий, что бы ни случилось.

Просунется, бывало, Трофимушка (так сокращенно-ласково называли няню в доме) в дверь: «Вера Ивановна, предлагают картошку, выйдите, посмотрите», — и, несмотря на то, что дома, может быть, ни одной картошины нет, мама ни за что не выйдет: «мы еще занятия не кончили». Это рассказывала сама мама не раз.

А приходилось ей пешком выхаживать большие расстояния «на Рачевку» (предместье Смоленска, где в то время бывал «черный рынок»), добывать не только пропитание для семьи, но и корма для коровы. И, как ни тяжелы были эти походы, эта ноша, которую надо было тянуть да еще с горы на гору (ведь Смоленск располо-

жен на холмах) — самое тяжелое было выдерживать конкуренцию со спекулянтами, опытными, хищными, неумолимыми...



Пишу эти строки — и встает Ашхабад и аналогичная ситуация: базар военных лет, где или не продают тебе, не хотят, не нравишься ты продавцу, или выхватывает кто-то раньше тебя из рук только еще идущего на базар продавца: «беру, всё беру!».

Вернется мама с Рачевки — идет доить корову. Старушки Софья Владимировна и живущая в то время с нею двоюродная сестра Екатерина Павловна — уже тут как тут. Заглядывают в подойник : «Ой, Верочка, вы, верно, не все выдаиваете — так мало молока!». И подставляют свои посудины.

А у мамы еще муж, двое детей (Федя и я), сама она, нянечка... Как тут разделить эти капли, что дала голодная корова, на всех?

Все эти беды и переживания свои несла мама в церковь. Отец имел обыкновение говорить «твоя церковь — детки» — но... сквозил за этим обыкновенный мужской эгоизм, желание, чтобы жена была только в семье. Маму такая постановка вопроса не устраивала (как она всегда отмечала в разговорах).

... Корова в конце концов пала — то ли от голода, то ли от старости или болезни, не знаю. Для семьи нашей, конечно, было большое горе. Когда ее, накрытую рогожей, на телеге увозили со двора, вся семья собралась у окна детской комнаты Карпышевского дома, где

мы в то время жили. Помню, как я горько плачу и размазываю по грязной мордашке слезы, которые тут же утирает няня. В этот трагический момент плеча моего касается бабушка Катя (Екатерина Павловна Лидерс, в прошлом жена генерала) и я слышу: «не плачь, Танечка, скоро и меня так повезут» — произносит она, всхлипывая. — «А мы будем смотреть!», — повеселев, кричу я, и слез моих как не бывало... Было мне, наверно, не более трёх лет, так как была еще жива Софья Владимировна, а она скончалась в марте 1921 года.

Когда я начала помнить себя? Этот вопрос всегда трудно решить, так как трудно отличить собственные впечатления от рассказов, воспоминаний, разговоров взрослых.

Но вот зримо запечатлевшееся в памяти, как на фотографии: ...Свет падает через открытую дверь столовой, входит в темную детскую отец, его силуэт ярко вырисовывается в квадрате двери. Я сижу в своей кроватке, обернувшись одеялом. «Ты что не спишь?» — говорит он мне. — «Подожди, папочка, я тебе сейчас яичко снесу», — и еще плотнее усаживаюсь в свернутом одеяле.

У меня сильный кашель (не коклюш ли?), он держит меня на руках и заставляет кашлять прямо ему в лицо, прижимает к груди: «отдай мне свой кашель, отдай скорее!».

... Лучезарный блеск летнего дня, все в каком-то мареве, и чувство, как будто растворен в окружавшем тебя счастье, уверенности, любви... Здесь все, кого я люблю — и папа, и мама, и Федюшок, и ржаное поле, и васильки, и песня жаворонка, и ощущение вечности всего этого...

... И еще: суета, темная прихожая, пахнет сыростью (в столовой даже весь угол был зеленый, и Федюшок называл это: «дух зеленой сырости, дух зеленой крепости») — какие-то чужие люди, и отец торопливо одевается. «Куда ты, папочка?» — висну я на нем. «Погулять иду, я скоро вернусь», — были его последние слова...

В этой же прихожей: уходит мама, стоит уже одетая, и я судорожно рыдаю и висну на ней: «Нет, нет! Не уходи! Не уходи! Ты уйдешь и не вернешься, как папа!». Заплаканная няня с трудом отдирает меня и уводит прочь.

Потом: я брожу по темной квартире, открываю какую-то дверь и вижу: на положенных на пол матрацах, рыдают, обнимаясь и падая какие-то женщины, растрепанные, неузнаваемые... Руки няни оттаскивают меня прочь.

Вижу маму: она лежит на кровати, женщины суетятся вокруг... «У тебя братец», — говорит няня. «Не хочу, не хочу, не нужен он мне!», — мой крик. — «Ну куда же его теперь, в помойку, что ли, выбросить?» —

«Да, да, выброси, выброси в помойку!», – это было появление на свет брата Саши... «А как назовут братца?» — «Сашей». — «Фу, не хочу, не хочу, гадкое имя!». — «Ну не хочешь называть Сашей, называй Алей!». — Тут уж возмущению моему не было границ.

Скорее хочу я закончить смоленский период, закончившийся гибелью отца... Собственно, прожили мы там еще после этого, видимо, не меньше, как год... полтора. Вспоминаю по рассказам, как ехали в Москву, как, надрываясь, плакал, не переставая, маленький братец Саша, и пассажиры говорили: «а где мать-то, что она его не уймет, сидит, как кукла, в одну точку уставившись», — у мамы, конечно, пропало молоко; баюкала и кормила его из бутылочек няня.

В Москве тот раз пробыли, наверно, недолго и вернулись для ликвидации смоленской жизни. Оставили в Москве, на попечительстве дяди Вани, моего милого Федюшка. Отныне он должен был жить и учиться у бабушки. Я получила в Смоленске большую свободу, мною никто не занимался — и маме, и няне было не до меня. Они заботились о Саше и упаковывали наши вещи для переезда. Теперь только я могу оценить ту колоссальную работу, которая была проделана ими. Маме хотелось сохранить все, что можно, для нас, детей, на будущее. Везли всё: мебель (в том числе пианино), посуду, носильные вещи, конечно, все прочие реликвии.

Помню, как мне попало от бабушки и тети Нюты, когда я, в один из приездов в Москву, радостно закричала: «Это наши стулья!» со всей непосредственностью ребенка. А стулья были, как сейчас помню — венские, гнутые, черного лака, с плетеными, цвета натурального дерева, сиденьями. Это было, наверное, лучшее, что у нас имелось, и поэтому, как и пианино, было оставлено в Москве у бабушки. Федюшок еще в Смоленске учился музыке (уроки давала друг дома — Евфросииья Петровна Северикова), и в Москве его отдали в Музыкальную школу сестер Гнесиных на Собачьей площадке.

Первые впечатления от Голицына: я бегу по чудесное светлой дороге среди березовой рощи и все, кого я люблю, тоже со мной. Это мы направляемся от станции к дому тети Мани, сестры отца, где с этого времени мы должны жить. Счастье, чудный весенний день...

Поселок Голицыно, где мы прожили с весны 1924, до осени 1931 безвыездно, и где я начала и окончила школу-семилетку, был в то время действительно одной из достопримечательностей Подмосковья.

Еще до революции последний владелец усадьбы Большие Вязёмы, что в полутора верстах от станции Голицыно, один из князей Голицыных, решил создать благоустроенный поселок на своих землях при станции, и начал с того, что образцово распланировал его на

прямоугольники с безукоризненными дорогами, с канавами по обе стороны, и тогда только начал эти участки продавать. Цена, видимо, была достаточно высока, но и поселок выглядел картинкой! Тетя Маня купила дом по Крестьянскому проспекту, дом 16, в то время, ныне — № 20. Так, «проспектами» называли улицы, ни мало ни много! Дом этот был куплен в 1916 году, после продажи дома Залесских в Смоленске. В голодные годы они жили там сами, а затем муж тети Мани, профессор Г.Ф. Мирчинк, получил квартиру при Горной академии, и они переехали в Москву.

К моменту нашего приезда дом пустовал. Поскольку стояла весна, вместе с нами поселилась и семья Мирчинк. Первое время все спали на полу, на тюфяках, так как мебель наша была отправлена малой скоростью и шла очень долго, что-то больше двух недель. Вокруг было еще очень мало домов, и бездна простора, что было, конечно, очень привлекательно для детей.

За грибами ходили «в елочки», перейдя дорогу и перепрыгнув канаву. И масса грибов была на участке при доме. Участок был большой, в полгектара; часть его была покрыта березовым лесом. Был и огород, и яблоневый сад, и кусты с ягодами — одним словом — приволье!

Но и дом, и сад были порядком запущены. Я помню громадную, высотой почти с дом, навозную кучу у

самого входа в сени — здесь в голодные годы тоже держали корову, и хлев находился под одной крышей с домом. Вот эта-то куча сыграла большую роль в том, что мама через какое-то время смогла обрести элементарное душевное равновесие. Она и всегда большое значение придавая физической работе, а тут еще ее эстетическому чувству претило это безобразное зрелище; и она всю эту кучу на своих руках перетаскала на задний двор, где навоз запахали и создали дополнительное «сельхозугодье», посеяли травы. И она не раз вспоминала, как в ее тогдашнем душевном состоянии эта тяжелейшая физическая работа помогла... Бедная мамочка! Делала она это рано поутру, когда все еще спали.

Моя мамочка часто говорила: «лиха беда — начало». Так вот — пусть это будет так — начинаю, а вернее — продолжаю писать воспоминания о маме...

...13 октября 1987 года побывала я у Феде. Чудесно было, именно так, как мне хотелось: в связи со столетием со дня рождения мамы мы сидели, вспоминали, особенно ее смоленский период жизни, который очень хорошо помнит Федя (я — очень мало).

...В тот год (1922) Пасха приходилась на 16-е апреля и праздновали ее три дня. Вообще любопытно: 1922 год изобилует праздниками как церковными (Благовещение, Вознесение), так и революционными — причем такими, как Парижская Коммуна, создание 1-го Ин-

тернационала, не говоря уже о тех, которые остались и по настоящее время.

Вместе с мамой и отцом Федя, которому было в ту пору почти 11 лет, находился в соборе у заутрени (служба в пасхальную ночь — следовательно, в ночь с 15-го на 16-е апреля). Все трое они стояли на хорах, так что весь храм был виден прекрасно сверху, а народу было тьма, и вся эта толпа колыхалась, как морские волны, и смотреть на все это было довольно страшно. К заутрени и всегда собирается много людей — уж очень торжественна служба и это незабываемое пение «Христос воскрес»...

Но здесь, в данном случае, людей привлекала еще личность владыки Филиппа — настоятеля собора, не так давно приехавшего в Смоленск с Камчатки, где он был миссионером, и буквально покоровшего всю смоленскую верящую паству. Был он красив, красноречив, блестящий оратор, а взгляд его черных глаз действовал просто гипнотически. Короче говоря, он был властителем дум всего не только верующего, но и всего думающего Смоленска, всех, кто искал опоры в душевном смятении, овладевшем людьми в те годы. Но я отвлеклась.

Вот слова Феи: «Никогда, ни раньше, ни после я не видел отца и маму такими счастливыми, такими красивыми, так любовно настроенными друг к другу». «Мир и полное согласие царили между ними»...

... Представляю, как счастлив был в этот момент мой любимый Федюшок!.. Он плакал, когда рассказывал мне это. «Никогда прежде» (!)... Да, тяжелое время выпало на период их совместной 12-летней жизни. Столько всего, что иным не достанется и за всю долгую жизнь.

И они редко были вместе, хотя оба, такие эмоциональные, с такой богатой духовной жизнью, всегда были счастливы в общении. В то время мама ждала моего младшего братика Сашу — до его рождения оставалось три месяца... Поэтому, наверное, и находились они на хорах, где маму не могли затолкать. Но она всегда рассказывала о своем чувстве боязни толпы — не с тех ли времен?

«Никогда после»... Когда же «после» была у них возможность испытать счастье? Ведь где-то через неделю после Пасхи отца арестовали. Затем отпустили «на поруки», взяв подписку о невыезде — короткая передышка, за время которой, 22 июля 1922 года успел появиться на свет братец Саша, 30 июля его крестили, а уже 1 августа того же рокового 1922 года начался суд, когда отец ушел из дома и больше не вернулся...

Суд продолжался два месяца, но ничто, по словам Феде, не предвещало столь рокового исхода. Все домашние были относительно спокойны, ходили на свидания, Федя говорил, что и меня брали, носили переда-

чи, посылали ходатайства в Москву, где к этому делу активно подключилась тетя Маня. У них в ту пору были влиятельные знакомства, и это внушало надежду...

И вдруг так неожиданно грянул гром. Еще 1-го октября были (кажется, именно со мною) на свидании в тюрьме, папа шутил, ласкал нас с Федюшкой, ободрял маму. А 2-го октября их расстреляли. Вместе с отцом были расстреляны еще трое — Мясоедов, Пивоваров и студент из Рославля Демидов, не имевший отношения к церковному процессу. Но помню овраг, пустынно кругом, братская могила, и мне говорят, что там мой папа. Я не верила...

Цитирую запомнившиеся слова Феде: «Последнее свидание было 1-го октября в воскресенье. А дня через два-три мама говорит мне: «Знаешь, а папы больше нет». Тут сразу из Москвы приехал дядя Ваня, и решено было, что я еду с ним учиться в Москву». Не забыть мне — как плакал Федя, рассказывая мне все это, может быть, впервые с того времени. Часто это делать нельзя, только один раз за 65 лет прошедших...

... Первое лето после приезда в Голицыно запомнилось мне как сплошной праздник. С нами были неразлучны наши двоюродные брат и сестра — Леша (1915) и Сонечка (1913). Особенно я подружилась с Лешей. Я вообще любила, и привыкла еще в Смоленске играть с мальчиками.

Проводил с нами лето и Федя после года с половиной учебы в Москве и разлуки, все было чудесно. Так ли хорошо было маме, как мне — сказать трудно. С одной стороны, общая жизнь с семьей тети Мани, оживление, общие заботы, шумные застолья, может быть, и отвлекали ее. Но не могла не тяготить, конечно, материальная зависимость и невозможно было не чувствовать на фоне четы Мирчинк — свою обездоленность.

Не к этому ли лету относится эпизод, когда мама, желая уединиться от всех и помолиться, побыть со своими мыслями, отправилась на чердак.

Было это не то рано утром, не то поздно вечером. Кто-то из супругов Мирчинк услышал шаги на чердаке, переполошились и поднялись туда — причем, впереди, со свечой шла тетя Маня, а за нею дядя Юра в нижнем белье. Нам преподносилось это происшествие как комическое — на деле же в нем крылся глубокий трагизм маминого одиночества. Тогда она еще не установила связи с духовными лицами, не начала ездить в «общинку», не приобрела какой-то внутренней устойчивости. Но буду излагать все по порядку.

Лето промелькнуло, подошла осень, за нею — зима. Той осенью мне исполнилось 7 лет, а обучение в школе начинали тогда с 8-ми лет. Меня ничуть не смущало, что мы остались одни — мама, няня, братец Саша и я. На долгие годы это и была наша семья. Разлука с

Федюшкой меня очень печалила, и сам он болезненно переживал расставание с мамой, со всеми нами. Хоть там и Москва, и школа Гнесиных, куда его отдали учиться музыке, и Ивушка Яковлев — товарищ не столько по школе, сколько домашний: сын сослуживца и коллеги дяди Вани, и сам мягкий, тактичный, чуткий дядя Ваня. Всё портила и ужасала «Нютка», как мы ее звали между собой — несносная, скандальная, свирепая. «Нютка», старшая мамина сестра, старая дева, в подчинении которой ежедневно и ежечасно бедный Федюшок находился. И это делало его мучеником в моих глазах. Жалела его, конечно, и мама, — но что она могла сделать? Глубокая зависимость от родственников отныне стала ее уделом. В то время существовала безработица; она встала в очередь на Биржу труда, но с ее анкетными данными это было едва ли не безнадежно.

Первая зима в Голицыне мне запомнилась как сплошные мои и Сашины болезни, мама и няня неустанно выхаживали нас. Кто заболел первым? Наверное, Саша — у него обнаружилась скарлатина с ужасным гнойным воспалением горловых желез, под названием гланды. Гнойные мешки свисали чуть не на грудь. Лечили его компрессами, совсем было собрались ехать с ним на поезде в Москву для операции — и тут (о счастье!) нарывы прорвались, гной вышел и он пошел на поправку. А у меня скарлатины вроде не было, ее не заметили.

Но опять-таки поджидало ужасное осложнение — гнойное воспаление среднего уха. Помню: я в постели, мама читает мне какую-то любимую книжку и вдруг — страшное распирающее давление в голове, боль в ушах, я кричу: «не слышу! не слышу!». Мама, читая, кричит все громче, а я плачу и повторяю: «не слышу!»...

Страшная боль, из обеих ушей хлынул густой зловонный гной, что было потом — не помню. Ведь очень непросто было организовать врачебную помощь при отсутствии телефонной связи, поезда ходили редко, меня уже на руках не донести, ну и т.д. На все Голицыно был только один фельдшер; врача даже не было. Сколько потом мамочка принимала мер с моим лечением: возила в Москву к очень симпатичному старичку доктору Генкину (знакомому дяди Вани — конечно же, он принимал нас на дому бесплатно); проводила кропотливые, назначаемые им процедуры — ничего не помогало. Так и останется глухота и гнойный процесс в правом ухе до конца дней моих...

Болезни наши не кончились. В ту же зиму заболела я очень тяжелой формой брюшного тифа. Болезнь эта все же редкая и все недоумевали, — где я могла заразиться? Но никто не подозревал, что мы с Лешей и соседом нашим Сергеем Мироновым устраивали экспедиции в мусорные ящики на станции Голицыно. Существовали тогда такие деревянные, квадратные, до-

вольно большие — с лазом с одной стороны, где еще имели обыкновение ночевать беспризорники (их тогда еще было немало); они рылись в этих отбросах и мусоре в поисках съестного, мы же — в поисках марок... Да, да! Было повальное увлечение марками — а где их было взять? Это теперь в каждом киоске продаются тематические наборы марок, бери и наклеивай. Тогда же редкие счастливицы обладали такими сокровищами; более или менее старинные, дореволюционные, иностранные особенно ценились. У Федюшка было два образцовых альбома — один большой, другой — поменьше. Когда я бывала в Москве, то по воскресеньям он садился за письменный стол и раскладывал свои альбомы. Это называлось «заниматься марками».

Болезнь моя протекала в тяжелой форме. Была высокая температура до 41.3°C, был бред и потеря сознания. Очнувшись однажды, я увидела плачущую маму над собой...

Но детям не свойственно чувствовать опасность (а это, видимо, был кризис). Единственно, что я запомнила, было лишение какой-нибудь твердой пищи — можно только бульон, кисель, жидкую манную кашу. Хотелось же чего-то пожевать. Встав с постели, я чуть не заново училась ходить, была бледна, худа. Даже «Нютка», которая иногда появлялась, была довольно ласкова со мной. Когда разрешили есть — она привозила из

Москвы продукты. А один раз даже сказала: «ей бы икорки». Я, конечно, не поняла, что это такое, но согласна была и на «корку» (я так расслышала), — надоела жидкая пища.

Мне запомнилось, что жили мы уютно, спокойно. Нянечка наша с утра начинала «оправлять лампы». Несмотря на керосиновое освещение, дома у нас было всегда светло, уютно. Лампы горели во всех комнатах. И как чудесно было заниматься чем-нибудь, сидя за столом под большой висячей лампой! Няня шьет, чинит что-нибудь, я рисую или с куклами возжусь, Саша — с кубиками, строит что-то. Перед Рождеством всей компанией занимались изготовлением елочных игрушек.

Мамочка вскорости освоила пишущую машинку — ей дядя Ваня подарил модель «Ремингтон». Она ездила в Москву на курсы машинописи и была завалена работой. Это, конечно, было ей и отвлечением и утешением, а главное — в значительной степени давало заработок свой, собственный, облегчало тяжелое иждивенчество...

В то время директором Лесхоза в Голицыне был Иван Романович Морозов — крупный, очень доброжелательно настроенный блондин. Как я теперь понимаю — он не только проникся к маминому бедственному положению молодой красивой вдовы с тремя детьми, но и по-хорошему симпатизировал ей.

У него была жена — Анастасия Александровна, черноглазая тараторка, врач по профессии (это значит уже после «зимы болезней наших» они появились в Голицыно) и двое детей: Рома — моих лет, вылитый отец, и Галя — лет на пять моложе — похожая на мать. Про мадам Морозову помню мамино выражение «ходит, свистит, трещит по Голицыну».

Запомнились мне купания Саши зимними вечерами. Мы все ходили в общую баню, которая находилась на другой стороне железной дороги и топилась под выходные дни. А Сашу лет до пяти купали дома — у печи, в маминной комнате ставилась глубокая ванночка, наливалась горячей водой (печи были белые, кафельные, обогревались комнаты прекрасно). Приготовлялся кувшин для окачивая водой попрохладнее, раскладывалось на простыне чистое белье. Какое надо было терпение, да и просто силу, умение — усадить его в ванночку! Он с неистовым криком выбивался, разбрызгивал воду, не хотел купаться! С тех пор и мамино выражение ходило, как Саша «на одной пупунычке держался», так как выламывался, выгибался, не хотел сесть в воду. Мама и няня выдерживали настоящую силовую борьбу, пока удавалось его в ванночку усадить. Я в эти минуты его люто ненавидела, наблюдала все это издали с неприязнью.

Зато потом, выкупавшись, он сидел такой блаженный, притихший, в надетом на голову чепчике, хорошенький, глаза, как вишни.

Вообще, в то время мне заполнилось — мы с Сашей были под началом няни. На маме, кроме ставшего теперь привычным печатания на машинке (об этом заботился в первую очередь Иван Романович) были все «внешние сношения» — магазины, расчистка снега, заготовка (принос) дров.

Топили печи и она, и няня, а вот «опрavлялись» лампы всегда няней. Она же, по-видимому, и готовила. В первую зиму держали, кроме кур, даже поросенка — тоже нянина забота. Но зато, помню, какие окорока были на Пасху! Ветчина вкуснейшая: окорока, обмазанные ржаным тестом, запекались в русской печи — все это тоже делала няня. Она же и «спасала» меня от лишнего ветчинного жира (дядя Юра постановил: пока весь ломоть, в том числе и жир не съеден — другого не давать). А няня, якобы незаметно, подставляла сбоку свою тарелочку — и вот моя опять чиста, я с радостью получаю еще порцию вкусного мяса.

Мама же, вспоминала, как она, придя в «кооператив» (так магазин назывался) просила «свининки попопстей», а возчики и мужики гоготали: «Эка дело — спросила бы — пожирней!».

Я уже упоминала ранее, что раз или два в год меня возили «на поклон» к бабушке Поле. Поездки эти я ненавидела — Москва с ее шумом, беспорядочным, как мне, после голицынской тихой жизни, казалось, движением, неистово звенящим на перекрестке трамваем, который на перекрёстке, около дома, где жили Полосины, особенно несносно долдонил и трезвонил: было впечатление, что тебя бьют по голове — всё это представлялось мне каким-то кошмаром.

Мама в Москве исчезала. Оказывается, она налаживала там связи с духовными лицами, бывала в «общинке» (что-то вроде небольшого полуплеганального скита на базе не то Донского, не то Данилова монастыря). Помню, и меня как-то она с собой взяла — я стерла ногу неудобной обувью и ковыляла в одних чулках по дороге — представляю, как я действовала на нервы маме...

Но уж из Голицына мама исчезала одна... Как живая стоит она у меня перед глазами в облике тех лет! Высокая, не ниже одного метра семидесяти сантиметров роста, в длинной темной юбке времен начала войны 1914 года, в облегающем жакетике и главное — в шляпке! Шляпка эта, наверное, делалась на заказ и исключительно маме шла! Тулья задрапирована черным шелком и небольшие, черного бархата поля... Как блестяли мамини глаза из-под этой шляпки! Какой заманчиво-загадочный вид у нее был! И вот она исчезала...

Помню чувство страха и отчаяния — а вдруг она не вернется? (Ведь так, однажды уйдя, не вернулся отец...)

Иногда и к нам приезжали «духовные лица». Запомнила некоего Олецкого (священник, по-видимому?) — конечно, в штатском, приятный, средних лет. Особенно меня поразило то, что он нашел в канавке, где мы сотни раз до этого пробегали, прыгали, играли — нашел, как по мановению жезла, целое семейство превосходных белых грибов! Просто как по заказу...

Во время всей прогулки мы пытались зорко следить за ним, искали сами и после него в этой же канавке грибы — но никогда ничего не находили.

К этому же времени относится, по-видимому, недолгая мамина педагогическая деятельность того периода. За ней пришли и попросили заменить заболевшую учительницу в школе в Малых Вяземах — деревня, примерно в 4-х километрах от Голицына. Тогда поезд не останавливался у этой деревни, и надо было ходить пешком.

Мама рассказывала, как она вела занятия, как в одной комнате сидят ученики от первого до четвертого класса, как внимательно ее слушают и бегают встречать... Для нее это был праздник души — ведь она перестала работать учительницей перед рождением Феди. Не помню уж, сколько она проработала в Малых Вязе-

мах — неделю? Две? Но была зима, метели, заносы — она все преодолевала, приходила довольная, румяная.

От педагогической работы она раз и навсегда отказалась по религиозным соображениям. Детей надо было растить безбожниками — она этого не могла. Но что она была педагог, что называется «милостию Божией» — не вызывает сомнения.

Признательна ей на всю жизнь я за свою грамотность. А дело было так: мама усаживала всех детей — двоих детей тети Мани, Федю, по-моему, бывала и Верочка Карпышева, меня (наверное, это бывало на зимних каникулах или летними дождливыми вечерами). Диктанты эти я очень любила — меня выделяли как одну из лучших, хотя я была из этой компании самая младшая. Диктовала мама из Тургенева, Толстого и других классиков. К Тургеневу я очень рано пристрастилась, мне очень пригодилась для грамотности моя прекрасная зрительная память.

На вторую зиму жизни в Голицыне я пошла в школу, причем сразу во 2-й класс. Тогда формы не полагалось, не помню, что на мне было надето, но помню бант в волосах из темно-красной муаровой ленты (значит, волосы немного отрасли, а то меня долго стригли под машинку).

Отводила меня в школу не мама, а живущая по соседству девочка — подросток Надя Алексейчик. Пер-

вая учительница — Ольга Григорьевна Чельцова. В ужасе была я от постоянно мокрых штанишек — тогда как-то не принято было спрашивать среди урока: «можно выйти?». И я стеснялась...

Как всему на свете приходит конец, так пришел конец и нашей уединенной жизни в Голицино. Вскоре (на вторую или третью зиму) приехала и поселилась там тетка дяди Юры Анастасия Александровна Ефимова, а вслед за ней был туда помещен и сын тети Мани — Федя (он ровесник Саши) с воспитательницей, ну и для всей этой компании, конечно, нужна была домработница. Мне было жаль нашей уютной, тихой жизни; но, как всякий ребенок, я тянулась к новым впечатлениям и устанавливала контакты с каждой из меняющихся, как в калейдоскопе, домработниц. Мы с ними взаимно друг друга «обогащали». Все эти Вари, Зины, Жени, Нюры при мне не стеснялись в обсуждении своих проблем, и я гордилась их доверием.

Теперь, с вершины своего жизненного опыта, я понимаю, каково стало положение мамы (и няни) в такой многосложной семье... Старушки: Анастасия Александровна и её сестра Ольга Александровна — мать дяди Юры — не стеснялись в выражениях при нас, наверное, до мамы доходили их стоны, как «бедному Юрочке трудно содержать столько народу». Как там распределялись обязанности, кто готовил, кто, что по-

купал, кто, что делал по дому — трудно представить. Помню нянечку с всегда суровым лицом, с повязанным туго фартучком, в «душегрейке» — всегда занятую, всегда в хлопотах.

Маме с ее любовью к порядку, к системе и с этой точки зрения было трудно. Как во всех интеллигентных семьях того времени, у нас принято было есть из хорошей посуды; помню наш синий английский сервиз, про который Вера Николаевна Шатская сказала: «как, неужели вы каждый день его употребляете?». Конечно, он очень скоро побился. Затем употреблялись ежедневно серебряные ложки, и мама неустанно вывешивала на дверце буфета реестры — «столовых столько-то, чайных — столько-то», но все шло вверх дном, все летело прахом.

Если для Федорки нужна была срочно кашка, то керосинка пускалась коптить столбом; если ему приглянулась игрушка или книжка, которая была в руках у Саши, то Саша должен был ее немедленно отдать, т.к. «Федорка» поднимал неистовый крик, а его желание было законом.

Длинными зимними вечерами уже не сидели с уютом — был сплошной содом и гоморра. Моей обязанностью было маршировать с Федоркой под аккомпанимент очередной воспитательницы. Анастасия Александровна умела и любила готовить, особенно печь. Но

мама частенько вспоминала, что, когда выходили вся продукция, ей говорили: «Вера Ивановна, может, быть, вы что-нибудь приготовите».

И вот мама уж действительно должна была печь из «муки и воды», как любила скромничать Анастасия Александровна, когда хвалили ее пляцки и мазурки: «ну, что особенного — мука и вода», хотя это было далеко не так.

Поскольку жил Федорка со свитой, то часто приезжали из города то тетя Маня, то дядя Юра. Время было трудное и если привозили что-нибудь вкусное, то в основном для Федорки. В нем в то время все больше и больше становились заметны странности. Он очень мало говорил, что было особенно заметно на фоне Саши, был пассивен, малоподвижен, имел обыкновение не отвечать на вопрос, а повторять слова вопроса без изменений. Например: «Федя, ты будешь кушать?», отвечал «ты будешь» ну и так далее.

Помню, привезли для Федорки бисквитные палочки — целую коробку! Я увидела — ну, куда ему столько? — схватила всю коробку и залезла под стол их уплетать. Их хватились, начались поиски и меня на месте преступления обнаружил сам дядя Юра... Много, очень много было, что называется, «подводных рифов» в нашей жизни. Мы не хотели знать и не чувствовали еще,

по своему возрасту, никакой дискриминации — тем больше чувствовала ее мама, переживала за нас няня...

Подарили Саше на день рождения трехколесный велосипед (это уже тетя Маруся с дядей Иосифом). Сашину счастью не было границ! Он, всегда очень ловкий, быстренько его освоил, и гонял стремительно. Но тут беда: стал отнимать велосипед Федорка. Крики, слезы! Федорке вскорости купили тоже велосипед, но гораздо более роскошный и дорогой, на резиновых шинах. Тут уже оказался обиженным Саша — смотреть не хочет на свой, простенький, тянется к Федоркиному, роскошному. Выручил опять-таки дядя Иосиф: у себя на заводе изготовил металлическую пластинку с надписью красной краской: «№ 13, НОВЫЙ». Пластинку прикрепили сзади на сиденье — и Саша был вполне удовлетворен!

Летом опять проблема — сад, яблони, ягодные кусты. Старушек коробило, если мы бегали по ягоды, лакомились яблоками. Они шугали нас из сада, хотели варить варенье, быть полновластными хозяйками. Мама при нас осуждала тетю Маню, что не поставит их на место и не заступится за нас (дача принадлежала лично ей). Надо отдать справедливость Анастасии Александровне, она, помимо готовки, очень много внимания уделяла саду, огороду, цветам — во вторую половину дня все, бывало, возится в земле.

Как-то Саша залез на любимую яблоньку, а мимо шла Ольга Александровна и бросила сквозь зубы: «чтоб тебя холера взяла». Саша вскорости серьезно заболел — тоже повод для маминого возмущения, тем более, что Ольга Александровна была неистовой богомолкой, фанатично преданной владыке Трифону. Она и похоронена рядом с ним на Немецком кладбище.

Но зато огромным нашим удовольствием был поход к заутрене! Шли большой компанией — в Голицыне тех времен мы были дружны с несколькими очень приятными семьями — соседи тети Мани Мироновы, Шестаковы, Радивилины, упомянутые Морозовы. Так вот, дети их — с нами, взрослые — с взрослыми. Церковь в Больших Вяземах была двухэтажная, еще звонили в колокола. Идти надо было немного лесом, потом полем. Шли с факелами, торжественно — дух захватывало! Еще были с нами двое почти юношей, запомнила их фамилии — Луначарский (?) и Олег Богушевский. Последний вскорости покончил с собой. Они приезжали из Москвы, уже не помню к кому...

Не помню, упоминала ли я, что дача тети Мани была расположена на большом участке, примерно 0,5 га. Одна часть была раскорчевана под огород и сад; другая, куда был выход с балкона, представляла собой чудесную березовую рощу, где росло много белых грибов. Если встать лицом к даче тети Мани (она числи-

лась под № 18 по Крестьянскому проспекту), то справа от этой от усадьбы, ближе к Петровскому шоссе, стоял домик, как будто уменьшенная копия тети Маниной дачи, покрашен такой же темно-желтой краской, окон по фасаду всего три, а не четыре, как здесь, балкона не было, крыша низкая (без чердака). Тот домик № 16 принадлежал Ольге Александровне, но в описываемое время в нем жила некая Серафима Николаевна Евстигнеева, неопределенного возраста и занятий дама, у которой воспитывалась упомянутая Надя Алексейчик. И вдруг я узнаю, что этот домик будет нашим! Вместо радости были горькие слезы. Домик был невзрачный, запущенный, без фундамента, нижние бревна сгнили. Вид и внутренняя планировка дачи тети Мани мне больше импонировали. «И зачем это все нужно?» — ворчала я. Но представляю, как ухватилась за эту идею мама! Была точка приложения ее энергии, которая искала и не находила выхода. Замаячила желанная независимость, уж хотя бы территориальная!

Съездили в Звенигород, оформили купчую, тетя Маня уплатила отступного в счет задатка Ольге Александровне. С Серафимой Николаевной еще пришлось судиться, чтобы дать делу задний ход и выселить ее.

И вот мама — домовладелица! Предстояли обширные работы — надо было делать этому дому капитальный ремонт, менять венцы (нижние бревна), под-

водить фундамент. Женщина — прораб! В то время — неслыханное дело, но маме как-то все удавалось и ладилось. Стройматериалы — лес, доски, кирпич, цемент и тогда были в большом дефиците (а когда они не были?). Но она с увлечением рассказывала, как принял ее директор Одинцовского кирпичного завода, как удалось ей там же достать требуемый цемент. Как я теперь понимаю, немалую роль в этом играла внешность мамы, ее молодость и необычность ситуации.

Как я не противилась «новому дому», а дух строительства захватил всех, и ребятню в том числе. Стройка всегда радостна: запах свежего дерева, шелковистые стружки из-под рубанка, продольные пильщики — да! да! Тогда еще ходили такие работники и предлагали свои услуги. Доски получали на месте — бревно клалось на опоры, один пильщик наверху, другой внизу. Пилили долго, работа тяжелая, но как интересно было на все это смотреть! (О том, как разгружали кирпич, какая это была великая толока — я писала в главах, посвященных дяде Иосифу и тете Марусе). В общем, я-то быстро утешилась и была захвачена новыми впечатлениями. Довольно быстро дом приподнялся, (страшно интересно, как его поднимали домкратами, ломами!), встал на кирпичные столбы (пока!). Внутри были смонтированы балки, настелены свежие половые доски и — о радость! — мне была обещана отдельная комнатка, когда дом будет закончен...

Приблизительно к началу строительства подошла мамина очередь на бирже труда — и мама начала работать делопроизводителем в суде (была такая должность). Зарплата у нее была (помню!) первоначально 40 рублей. Это был 1927 год. Как было затевать стройку с такими материальными возможностями — непостижимо! Правда, тогда можно было брать ссуду, существовала и касса взаимопомощи. Мама рассказывала, как она предложила участвовать в строительстве дома дяде Ване. Вместо ответа он поднял ногу на мамино обозрение и показал башмак с дыркой на подошве. Это было красноречивым отказом.

Тогда мама пригласила в компаньоны свою сестру Нюту — и та согласилась... Так и висела всегда табличка рядом с номером дома 16 по Крестьянскому проспекту, на табличке было написано: «Залеская В.И. — Иванова-Полосина А.И». Никто и не подозревал тогда, сколь чреватым окажется такое совладение...

Я должна остановиться подробнее на вопросе совладения, т.к. здесь я должна реабилитировать себя в глазах родственников — братьев в первую очередь, а также их и своих детей. Конечно, я не в состоянии оценить ни долю материального участия тетушки Анны Ивановны, ни мамины невероятные труды, ни участие в этом деле тети Мани (помню, тетя Маня говорила, что она уплатила 1000 рублей О.А. в качестве отступного — дом

был «запродан» Серафиме Николаевне). Она считала, что делает это для детей своего погибшего брата (моего отца) и хочет, чтобы у них был свой угол (участки дома тети Мани и нашего нового дома сообщались как литкой к нашему большому удовольствию). Но... «из песни слов не выкинешь» — узаконив полноправно совладелицей свою сестру А.И Полосину, мама создавала возможность конфликтной ситуации.

Вначале все шло хорошо — тетушка Анна с бабушкой Полей жили в Москве, мы с мамой, няней и Сашей — в Голицыне; пути пересекались только летом, когда там жили в «хибарке» — маленьком домике, что стоял отдельно, бабушка с Настей (домработницей) и тетей Нютой; затем (в следующее лето, когда бабушки не стало) тетя Маруся с дядей Иосифом. После смерти няни и бабушки, мы с мамой и Сашей переехали в Москву, а в Голицыне стали жить круглый год (после рождения Сергея — 4 июля 1932 года) семья тети Маруси и Нюта с ними.

Но когда весной 1947 года, перед самой денежной реформой затеяли половину (переднюю) дома продать, деньги поделили пополам, и все опять стабилизировалось на какое-то время. Опять двум владелицам оставалась теперь уже половина дома — одна комната 16 кв. м и примерно такого же размера кухня. Вдоль задней, глухой стены прилегали сени, из которых вела на-

ружная дверь на крыльцо и в сад. Опять условно поделили: комната — маме, кухня — тетушке. Мама и тут со свойственной ей энергией и практической жилкой в один из моих приездов с семьей в Голицыно, попросила у меня некоторую сумму и сделала в сенях, на торцовой стене, большое окно и отделила выход дополнительной перегородкой с дверью. Там поставили кровать, что было весьма кстати — спальных мест остро не хватало, тем более, что семейную пару (к примеру — меня и Колю) совсем негде было устроить.

Приезжали мы — присылали в Голицыно и Сергея в это же время. Ничего не поделаешь — «за все надо платить». В свое время мы также «обсиживали» семью Кнапп-Полосиных. Вот тут-то мама, предвидя уже будущую ситуацию (наследниками у нее — мы трое; наследники тетушки Анны — тетя Маруся с Сергеем), женьитьбы детей, своих и Сергея — стала предлагать мне выкупить долю тетушки Анны в пользу нас, ее детей — ценность дачи под Москвой, пусть и половины дома, но с участком, с отдельным входом всё увеличивалась. И я неоднократно заводила с тетушкой этот разговор, но каждый раз слышала от нее: «Не знаю, что Маруся скажет». Маруся, видимо, предпочитала оставить все, как есть. Настаивать, тем более, нажимать мне было неудобно — у меня к тете Марусе навсегда

сохранились лучшие чувства. Так это все и тянулось до смерти тети Маруси 3 мая 1954 года.

Вот здесь, может быть, я могла нажать на тетюшку с выкупом ее доли, но... воспользоваться слабостью убитого горем человека я не смогла, никогда бы это не в состоянии сделать.

А вскоре замаячила женитьба Сергея, и Рая, едва услышав об этом вопросе, еще не будучи женой, категорически заявила: «Нет, ни в коем случае нельзя продавать, я даже не знала, что у Сережи есть дача — вот будут у нас дети»... Это же надо, такая бесцеремонность и дальновидность! И все получи лось, как по нотам, по предсказанию мамы: ее невероятные труды, ее детище любимое досталось чужим, посторонним людям — родителям Раисы. Дети Раисы выросли на этой даче, а мы и наши дети навсегда свои пенаты утратили. После смерти мамы (29 января 1956 г.) мы с Федей отказались от наследства в пользу Саши (от маминого владения оставалась упомянутая 16-метровая комната в два окна, с печкой, из которой можно было сделать отдельный выход наружу, через часть сеней. Я думала — Саша так и сделает и будет там жить. А он взял да и продал эту комнату, эту часть маминого владения владельцам передней половины дома (уже не тем, что покупали у нас), не помню их фамилии. Саша клянет Сергея, что он, якобы, не имел права поселяться в нашем доме. Мне

самой это все больно и неприятно чрезвычайно — я-то больше всего участвовала в создании этого дома, больше всех видела и знала мамины хлопоты и чаяния, дольше всех в этом доме жила. Но я не хочу, чтобы память мамы хоть в какой-то степени была покрыта тенью, не хочу ничего неясного и недосказанного в этом вопросе. Считаю, что вопрос предельно ясен — как бы ни было конечное владение скромно, оно до последнего времени было оформлено на двух совладелиц — маму и тетушку Анну. У мамы наследники — Федя, Саша, я, у тетушки — Сергей. И на этом ставлю точку. Если бы я знала, что Саша будет продавать комнату, то я бы купила ее у него. А возможно, это сделал бы Федя, т.к. он вскоре вернулся в Москву, а моя семья жила то в Ленинграде, то в Минске (до 1971 г.)

Ух, как гора с плеч свалилась, когда написала я всю эту историю для потомства.

Хочу написать, какой помню мамочку внешне, когда она стала ходить на работу. К тому времени она больше уделяла внимания своей внешности. Помню ее светлую, в легкую полоску, батистовую блузку (фасона «блужон»), неизменную длинную юбку, до щиколотки. А носили тогда до колен, чуть выше, чуть ниже; молодежь — значительно выше. Туфли, конечно, на низком каблуке. Прическа: на висках пышнее (вкалывались грёбенки) и высоко укладывался «крендель» из косы, еще очень

густой и без седины. Мамочка говорила, что с постройкой дома половину косы потеряла. А в руках — плетеная корзиночка местного производства. Голицыно славились своими плетеными изделиями от корзиночек до мебели — там существовал даже музей, продажа этих вещей осуществлялась по Звенигородскому шоссе в конце поселка. Корзиночка предназначалась для завтрака (она цела до сих пор). Представляю, с каким чувством счастья шла она на работу — уходила от всей этой неразберихи и кутерьмы. В летнее время обстановка ухудшалась тем, что еще и Полосины наезжали сюда же, особенно «Нютка». Потом для бабуши Поли стали снимать дачу у Костюков, не так далеко от нас, и я любила ходить к ней в гости...

В детстве меня часто мучил вопрос, кого я больше люблю — маму или няню, и я не могла на него ответить... Я знала, что мама — это мама; никогда в голову мне не приходило, что у меня могла быть другая какая-то женщина мамой, но... от мамы я была довольно далека... Мне не приходило в голову делиться с нею своими мыслями уже лет с восьми-девяти. Она всегда была как бы несколько отстраненной от нас — слишком совершенной, слишком непогрешимой. Она вершила суд, вела следствие, но душой близка ко мне не была. Не то чтобы я ее боялась, но мне в голову не приходило поболтать с ней о разных пустяках или проблемах, кажущихся для меня важными.

Опишу случай, вспоминая который, мне делается не по себе... Было мне лет одиннадцать-двенадцать, я дружила с жившей по соседству Ниной Крупениной, и училась с нею в одном классе. Мама ее нигде не работала, занималась много рукоделиями. И вот я узнаю, что Нине к лету сшили целых два новых ситцевых платья: фасон «татьянкой», впереди мысик с кантиком и «фонариком» рукава. Я всегда переживала, что меня «плохо одевают» и тут забилась где-то в уголке сада и давай реветь. Не заметила, как подошла мама и стала гладить меня по голове, приобняла и говорит: «Это ты папу вспомнила, да?..»

Я, конечно, не призналась ей, но надо ли говорить, как стыдно мне стало?

Мама, как правило, была с нами строга — теперь только я понимаю, что она и не могла позволить себе расслабляться. Она держала себя в струне, а нам иногда казалась черствой. Вспомнить хотя бы знаменитый случай с Федей, когда он ходил и канючил: «мамочка, как мне не хочется от вас уезжать», и как она молчала, молчала, а потом резко оборвала его: «Федор, чего ты воняешь!».

Жалко было Федю, но не маму...

Теперь только я понимаю, каково было ей, да и то не в полную меру. Она должна была быть нам и за отца, и за мать. Кому только из родственников она не была

обязана, оставшись с тремя детьми, с волчьим билетом и без никаких средств. Эта суровость, этот аскетизм и пуританство стало второй ее натурой...

Иное дело было с няней. Няня была — всегда! И мы бежали к ней со всеми невзгодами, со всеми радостями. Хотя и подваркивала она иногда на нас, но какой добрый-добрый ее взгляд, ее небольших глаз всегда нас обласкивал! Она нас любила беззаветно! Нельзя сказать, что мы (я) не обижали ее... Почему-то вдруг нападала грубость, резкость, желание делать наперекор. Или — капризы (знаменитое: «кофию в кровать»). Хотелось поиздеваться — и вот лежишь и канючишь, вдруг старушка милая несет подносик, и на нем чашка кофе. Как было стыдно — ужасно! Но виду не показывала.

...Милая, милая, незабвенная старушка! Как сейчас передо мной ее худенькая, невысокая фигурка, седые волосы острижены «ершиком», выражение лица скорее сурово, губы сжаты — и всегда в хлопотах!

Наш интересы, интересы детей Залесских соблюдалась ею свято, хотя ведь и тетя Маня была ее воспитанницей. Но под ее «крылом» были только мы — брат Саша, я, Федя (когда бывал с нами), Меня она звала «мурашечка». «Вот хорошо нашей мурашечке — ни заботы ей, ни работы» — скажет, бывало. А я думаю: «не знает няня — сколько у меня забот». Что я имела в виду — школьные проблемы или куклы? Как, из чего и что им

шить... Шить куклам я любила до самозабвения. Особенно, помню, это было лето, может быть, одно такое — мы с Нинкой Крупениной не вылезали из зарослей кустарника, думали, что никто не знает, где мы, с утра и до позднего вечера, обедать не ходили. Схватим что-нибудь и опять в свое заветное местечко. Шили самодельным маленьким уродцам, чтобы поменьше матери требовалось, а лоскутки мы таскали с помойки портнихи Михайловской, что жила на задворках от дачи тети Мани. Туалеты шились на все случаи жизни; мы их перекладывали, друг другу показывали, разыгрывалась фантазия — куда и в чем они пойдут. Огромное значение предавалось отделкам. Уродцы были величиной с ладонь, сшитые из тряпок, ручки-ножки гнулись как угодно, волосы из распущенной веревки, меня несколько шокировали непривлекательные мордашки Нинкиных произведений: химическим карандашом рисовался нос — палка и рот — полоска. Мои, мне кажется, выглядели симпатичнее... Но это была настоящая страсть! Я помню, приехал мой любимый дядя Ваня, меня зовут с ним поздороваться, а мне не до него, и я только изобретаю, как бы улизнуть, как бы опять в кусты и за шитье...

Интересно, что уродцы были безымянные, тогда как все мои хорошие куклы носили постоянные имена и были членами семьи.

Продолжу о нянечке. Носила она ситцевые кофточки навывпуск, само собой длинные юбки, всегда фартук, туго повязанный вокруг талии. И еще у нее была уютная душегреечка вязаная: спинка завязывалась спереди, полочки перекидывались на перед, перекрещивались и тесемкой обвивались вокруг талии. Рассердившись не на шутку, говорила: «дворяне — с торговой бани!» или передразнивала мое «конечно»: «канешно — яешня тебе» — и вставляла еще более сильное слово...

Платочки, как правило, в крапинку, повязывала под подбородком. И была у нее скамеечка под ноги, которую она называла «канпанька»; всегда, бывало, сидит, что-нибудь чинит — и скамеечка эта у ее ног. Я любила на ней примоститься. Без дела я ее никогда не видела.

Трогательно относился к няне братец Саша. Вот он-то был действительно ее питомцем — от рождения до восьми лет. Тем более что отца он «видел», (новорожденным) всего 10 дней — с 22 июля по 1 августа 1922 года...

А как-то приехали мы с мамой из Москвы, в доме темно необычно, тихо. Оказывается, няня приболела, лампы не заправлены; она лежит, а Сашонок (его детское прозвище) сидит около нее, закутавшись с головой в мамин шерстяной платок, в потемках...

Сколько я помню голицынский период жизни — из одежды вообще ничего не покупали, или донашивали имеющееся, или что-то приспособливали от двоюродных братьев и сестер (причем мы это очень любили и гордились этим обычаем, когда одежда переходит от старшего к младшенькому). Какие-то отрезки ситца доставали из сундука, корзины. В том числе и батист на мамины близки, мои платья из ситца — в розочку, в полосочку голубую, в горошинку с фестонами (эти туалеты сшили портнихой Александрой Дмитриевной к поездке по Волге летом 1930 г. — после смерти няни).

А чтобы я утешилась тогда, с Нинкиными «татьянками», мне купили прелестный цыганский ситчик, и мама сама мне сшила «татьянку» (правда, без мысика спереди, к великому моему огорчению, т.к. мама сказала: «это уже будет не «татьянка», а «набрюшник»). В этой «татьянке» я запечатлена на фото вместе с Сашей, где мы стоим с ягодами и грибами на Московском шоссе; снимок сделал дядя Иосиф летом 1930 года.

Мечтой моей тех лет были туфельки (обычно летом ходили в сандалиях). И вот слышу я, как взрослые (мама, тетушки), внимая, по-видимому, многократному моему нытью по этому поводу, собираются мне все-таки туфельки купить. Но и разочарована же я была, когда вместо ожидаемых, с вытянутым, изящным носком и с перепоночкой на пуговке увидела курносые, с настро-

ченным круглым передком, на ранту закрытые, со шнурками темно-коричневые туфли... Напрасно мне говорили, что это туфли фабрики «Скороход» (лучшая тогда фабрика), что они очень прочные и будут долго носиться — я не внимала этим словам и по-свински отнеслась к подарку, не только без благодарности, но еще и с воркотней. Мама возмущалась, конечно. Туфли действительно носились долго, стали мне малы, я кривила ногами из-за того, что они жали мне (а других, видимо, не было), но навсегда остались постылыми... А вспоминать про это стыдно. Пишу все это и думаю о своих внучках, у которых что ни год новые туфельки, одни других лучше.

Как оцениваю теперь — туфли были идеалом по детству мамы и тетушек, но, увы, они были несовременны для меня, как и многое другое, что я носила — хорошее, но такое, что никто не носил. А это в известном возрасте травмирует непереносимо. (Почему я останавливаюсь на всех этих мелочах? Да потому, видимо, что они запомнились, были характерны для меня тех лет; они, мне кажется, конкретизируют обстановку, в которой я росла, в которой формировался мой характер. Пусть потомки прочтут мою исповедь без прикрас.)

Сама я, что греха таить, не всегда могла понять своих детей, механически перенося на них мерки моего

детства, хотя условия их роста были совсем не похожи на мои. Только с внучками я немного что-то поняла...

Как ни старайся, а лучше Л. Толстого не скажешь: «счастливая, счастливая, невозвратная пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней?...»...

Было мне лет десять, не больше одиннадцати, когда в одну из зим на меня вдруг напала полоса «проклятых вопросов». Придя из школы и напившись молока, я имела обыкновение, прижаться задом к кафельной печке, растянуться на топчане и читать. Мама на работе, няня в хлопотах. Но иногда я буквально изводила ее: «ну вот я умру — а что будет потом?» — «Потом ты будешь опять жить, опять будешь маленькой», — отвечала няня. «Ну а потом? А мама — та же будет у меня или другая?». Няня, видимо, запиналась. «Нет, ты скажи: — как же все-таки будет? И я это буду или уже не я? А кто будет со мной — те же братья и ты, няня? Или все будет другое? Не хочу!!!». Вот этими вопросами я мучилась беспросветно и довольно долго. Плакала, рыдала, не могли меня ничем успокоить. Мучила няню, и мучила маму. Шестьдесят лет прошло, а я помню свое тогдашнее состояние, как будто это было вчера...

Время шло, и лето 1929 года мы провели уже в собственном доме. Я давно уже изменила свое отношение к нему и радовалась. Еще не было перегородок — вся передняя половина представляла собой одну про-

сторную комнату, где по стенам стояли кровати. Много света, воздуха, пахнет свежим деревом. Хорошо! Не было еще и печей, обходились без отопления, а готовили на керосинке. Был еще пузатенький медный самовар, очень уютно собирающий в послеобеденное время нас всех к чаю. Ставили его углями, которые няня аккуратно выгребала перед топкой печей. Мама и няня вздохнули свободнее, так как семья тети Мани все увеличивалась — появилась маленькая Тата.

Летом в хибарке поселилась бабушка Поля. Мамочка перед ее приездом сама покрасила (побелила) окна — делала она это перед работой, вставала в 5 часов утра. Внутри оклеили стены свежими обоями — в белые, милые цветочки. Там стало очень уютно. А жизнь шла своим чередом, и понемногу менялось что-то, заметное даже нам, детям. Появились карточки на хлеб и некоторые продукты. Взрослые стали как-то сумрачнее, озабоченнее.

Федюшок кончил школу-девятилетку и уехал с землеустроительной партией на Северный Кавказ, в район станции Невинномысская зарабатывать деньги. Разлука с ним всегда была для меня тяжела.

Сашу отдали было на детскую площадку, она находилась в помещении школы, но он недолго там пробыл — плакал, просился домой. С соседними мальчишками он уже и тогда дрался, приходил с синяками. Осо-

бенно противным и вероломным был Пашка Астапчик — с большой круглой головой, шепелявый и коварный. Паша Лобов (он умер ребенком) напротив, был сама кротость и простота. Время игр и забав с мальчишками было больше Саше по сердцу. Любимое занятие летом — шалаши, набеги на огород и сад — в то время яблони росли только у тети Мани, ни у кого из соседей яблोक не было. И вот Пашка Астапчик притиснет свою физиономию к балясинам забора и нудит: «Мали-Генина (Мария Евгеньевна), дай лябочка! Мали-Генина, дай малинки». Получив желаемое, он отбегал на проезжую часть дороги и начинал бомбардировать нас камнями, надо сказать, очень метко попадал. Ну, Саша не давал ему спуску, хотя Пашка оставался победителем чисто из-за своего коварства и подленьких приемчиков.

Это его мать — тетя Тоня — приманивала: «Ходы, ходы, Пашенька! ходы, сынок — папка на станцию пойдэт, тэбэ возьмэт» — на что Пашка реагировал соответственно — засовывал руки в карманы и давал дёру,— знал, что его высечь собираются. Надо сказать, из этого гаденыша вырос настоящий свин — и родители, и окружение от него стонали. Одно время он заведовал радиофикацией поселка — и громкоговоритель у станции был включен день и ночь на всю катушку... Семейство Астапчиков были беженцы из-под Бреста (из Барановичей) еще в 1918 году, равно как и их родственники

— семья Кесель, что построились с ними рядом. Первые годы у них мы брали молоко и звали Тоню кое для каких услуг (хотя чаще Лобову) — муж у нее был горький пьяница и куча детей, дети родились каждый год и все умирали; до взрослого состояния дожили только Зина, Галя, Нюра. Последняя была полтора года няней у Наташи в Ленинграде.

Миновало лето 1929 года, наступила холодная осень — и нам опять пришлось перебираться на «зимние квартиры» — на дачу тети Мани. Теперь, пожив отдельно, вкусив свободы — нам это было еще тяжелее. Поселились мы вчетвером — мама, няня, Сашонок и я во вновь пристроенной комнате, переделанной из сеней, с большим итальянским окном. По стенам стояли четыре кровати, неуютно как-то было, да и тесно, после летнего простора — в комнате было не более 16 м².

Где я готовила уроки, не помню. Наверное, стоял стол общий. Саша эту зиму 1929-30 гг. еще не учился, в то время в первый класс шли с 8-ми лет. Мама по-прежнему, кроме основной работы, уже в лесхозе, много печатала дома. Окно комнаты смотрело в сад — а не на улицу, как прежние наши комнаты, расположенные по фасаду. Где-то сохранилось письмо Феди ко мне, с Северного Кавказа, в котором он, жалея нас всех, сетовал по поводу необходимости жить опять с семьей тети Мани.

Столовались по-прежнему все вместе, по-прежнему ворчала «Настенька» (Анастасия Александровна), что «Юрочка» (дядя Юра) «кормит столько ртов». Комната наша прилегалась к столовой, из нее был и вход в нашу комнату. Только, бывало, хочется чем-то своим заняться — порисовать, пошить куклам, а тут Мария Владимировна, очередная воспитательница Феди, садится за старенькое пианино, и я должна под ее брэнчание с Федоркой «маршировать». Но, правда, под ее руководством и вдохновением я сделала несколько интересных рисованных постановок — мы разыграли и показали «уважаемой публике» сказки «Волк-рыболов», «Журавль и цапля», «На паркете в 8 пар» и другие. Сделаны были из картона арка, внутри — сцена, а руки мои при передвижении фигур были закрыты драпировками. Публика — мама, няня, Анастасия Александровна, Мария Владимировна, очередная домработница, Сашонок, Федорка. Так коротали зимние вечера. Ни радио, ни патефона, тем более телевизора в то время мы не знали. Еще очень любили зимними вечерами куда-нибудь ехать. Ставили в ряд стулья, завешивали их драпировками по бокам, собирали «вещи», усаживались и «ехали». Гостей к нам (детям) не приходило; встречались со своими сверстниками преимущественно летом, на воздухе. Надо ли говорить, что контакта со школой тоже особого не было; мои одноклассники (цы) были значи-

тельно старше и жили уже своими, взрослыми интересами. Я была презираема ими...

Еще на моей обязанности лежало ходить утром, до школы — в пекарню за калачами. Калачи были горячие, румяные, их при мне доставал пекарь прямо с горячих угольев.

Я шла через задворки тети Маниной дачи, мимо портнихи Михайловской — и там, на перекрестке Петровского шоссе и поперечной улицы эта пекарня стояла. Шла и твердила про себя: «шестью семь — сорок два». Это значило — заплатить надо 42 коп. Брала ли я шесть калачей или семь — не вспомню.

Почему в то лето не могли достроить дом, сложить печи, подвести фундамент? То ли денег не было, то ли кирпича, цемента. Но зато был прекрасный знакомый печник — Шпагин Егор, который жил на нашем же Крестьянском проспекте. Был и «свой» кровельщик — дед моего одноклассника Леши Семагина, они жили в том же доме, где и пекарня. Так что с мастерами, действительно первоклассными — дело в Голицыне обстояло хорошо.

«Маруся, иди детей кормить!», — и с этим возгласом обрывается ни с чем несравнимая идиллия...

Мы сидим в высокой траве жарким июльским днем над разбросанным узлом с тряпками и болтаем обо всем на свете. Взахлеб, перебивая друг друга, прикидываем, что можно сшить из той или иной тряпочки, а заодно поверяем друг другу и прочие свои задумки, изображаем в лицах знакомых, и не без того, что и высмеиваем их. Блаженство! «Маруся!» — раздается уже с раздражением, и моя тридцатилетняя тетка неохотно поднимается и с тоскливым выражением лица направляется к дому.

Я смотрю ей вслед. Среднего роста, в вольготном сарафанчике, в чувяках на босу ногу, с небольшой, красиво поставленной головкой, обрамленной легкими темными кудряшками (закручиваются на ночь пресмешным образом на бумажки!), с валиком на затылке — она удивительно гармонична. Она — жена инженера, и мать двоих детей («сосунков», как мы зовем их с младшим братом Сашей, хотя они и вышли уже из этого возраста).

Я думаю: что заставляет ее так беспрекословно повиноваться своей ставшей сестре? («Нютке» — как опять-таки, — но строго про себя! — зовем мы другую тетку, сварливую и строгую).

Тетка целыми днями возится у плиты, выскакивает время от времени на крыльцо распаренная, с красным злым лицом и с повязанным весьма экзотично платком на затылке. Одни взгляды, которые она бросает на

нас с тетей Марусей — да и на всякого, кто в эту минуту находится по близости — заставляют отворачиваться и внутренне сжиматься.

Вот и сейчас выскочила на крыльцо. Это значит, что она уже наготовила уйму всякой еды, и тетя Маруся, идя как на эшафот, должна поместиться за столом между двумя «сосунками» и...

Но, впрочем, это особая тема. «Сосунки» едят отратительно, дают им все протертое, молотое, вываренное — одним словом, до того неаппетитное (по нашему мнению), что и никто бы есть не стал. Им подносят ложки и, если рты они не изволят открывать, то говорят: «Таня покушает», — надо вовремя подвернуться, — и тогда этот несносный четырехлетний Сереженька, вредно и хитро глядя, берет, наконец, ложку в рот, но не жует (жевать там нечего, все «разжевано») и не глотает, а закладывает за щеку. И так все это кормление, с уговорами, и припевами, с ухищрениями, мол, «Таня покушает» — и с выдачей всего съеденного с ревом обратно — длится часами (всегда не менее двух!)

И уже, прости-прощай надежда вернуться к мешку с тряпками, к интереснейшим экскурсам в тете-Марусино детство, к разговорам обо всем на свете...

Мне даже трудно объяснить словами, в чем состояла прелесть общения с тетей Марусей. Мы были с нею совершенно «на равных», хотя не только я, но и

мои старший брат Федя звали ее не иначе как «тетя» Маруся (он позднее — *ma tante*, — ведь разница в возрасте у них всего одиннадцать лет, и этим французским обращением он как бы смягчал родственную иерархию и приближал себя к Марусе).

Она была начитана, с художественным вкусом, обладала даром имитировать, изображать в лицах, подмечать смешное, а главное — в ней столько было юного, но не оголтелого, не внешними приметам времени обусловленного, нет; она и одевалась в своем стиле; но почему-то даже в трамвае в ее тридцать шесть лет ей говорили: «такая молодая, а **уже** двое детей».

«И о чем ты можешь без конца разговаривать с Татьяной?» — вопрошает «Нютка» тетю Марусю, злобно разлучив нас наконец.

Она знает, какое это для меня лишение. А я в свою очередь думаю: «карга», (тоже одно из прозвищ ее того времени). «Могла бы и сама покормить сосунков», — так нет же, надо разбить наш увлеченный дуэт из вредности!.. Дачный летний день длинен и вот, наконец, мелькнуло что-то радостное впереди...

Приезжает с работы (или, если в отпуске) выходит в сад дядя Иосиф, муж тети Маруси. Он — венгр; высок, спортивен, сероглаз и нисколько не обижается на наши насмешки над его русским языком (клеб, капуста). Он удивительно родственен, и всем нам, детям, удивительно близок и понятен. Сейчас же вовлекаем

его в игру, которую мы все в ту пору очень любили, так как в нее играли и тетя Маруся с дядей Иосифом. Название, наверно, придумал Федя, поскольку оно было французское («ле-се фер, ле-се пасса»), — к сожалению, не могу написать это по-французски!). А игра представляла собой нечто среднее между теннисом и бадминтоном.

У нас не было ни фирменной площадки, ни ракеток — только небольшой мяч и самодельные, из «досочек» сделанные, «ракетки». Тем не менее, игра была необычайно веселой, с возгласами, прозвищами, шуточками, прибаутками. Но поскольку играла «чета» (опять-таки Федино выражение): «чета против четы» (играли обычно вчетвером) тетка Нюта не смела так прямо разлучать нас с нашими старшими партнерами.

Однако наступало чаепитие, и уж после него родителей всячески притабунивали к постылым нам «сосункам».

...Еще существовало у нас с тетей Марусей обычное посмеиваться друг над другом и давать прозвища. Так, в разные периоды мы звали друг друга, я ее «попик тощенький» — из-за упомянутых бумажных папильоток во время их накручивания, а волосы у нее были мягкие, как пух, первые от рождения — предмет ее постоянного недовольства (из-за этого я так усердно стригла наголо своих дочерей). Она меня: «диаконе, диако-

не, куда табакерку спрятали?» — когда я остригла косы и ходила «дьяконом».

Или еще: «девка ехидная, рыла круглая (после прочтения романа Ал. Толстого «Петр I». Потом было (после чтения «Молль Флендерс» — она: «пестунья», я — «потаскушка». Так и подписывали свои письма. А, надо сказать, переписывались мы активно, особенно, когда я уезжала на практику и затем — во время войны; из эвакуации я много писала ей, — тут уже и «Нютка» не могла нам помешать в наших «излияниях».

... Ее юность пришлось на период бесконечных войн и революций (она, младшая в семье, ровесница века). Затем — смерть сестры Лены (1918 г.; Лена была на 5 лет ее старше); голодные годы в Москве, и только где-то в 1922 г. с наступлением НЭПа стало полегче. Высшее образование ей получить не удалось; с ее артистической натурой и с тягой к искусствам (она хорошо пела, брала уроки музыки), подошла бы ей театральная деятельность. Но... молодые годы она провела, работая вместе с братом, профессором И.И. Полосиным (дома его звали «Вава»; он — историк, красивый, способный и нами в детстве очень любимый) в бывшем Румянцевском музее (теперь библиотека им. Ленина). С дядей Ваней (он старше тети Маруся на 8 лет) у нее было много общего, легкого, и в моих воспоминаниях они оба вносили в наше детство праздник, а уж особен-

но своими приездами на Рождество в Голицыно, где мы жили с мая 1924 года с мамой, няней и братом Сашей круглый год.

Ах, что это были за елки, что это были за праздники! Сколько счастья они приносили! И опять: я не помню ни дорогих подарков, ни каких-то заморских сладостей — общение с ними навсегда оставило впечатление лучезарности...

... Безрадостный день — декабрьские дни, мрачное время дня — сумерки — (хотя сумерки я и люблю... по крайней мере, теперь!) Избалованы мы не были и поэтому не стояло вопроса — где проводить каникулы? — ехали в Голицыно. В тот год в нашем доме зимовали тетя Маруся с семейством — маленьким Сережей и совсем крохой — Илоночкой. Незаменимая «Нюта» (так звали сестры свою старшую сестру), конечно, тоже там — вся в хозяйственных хлопотах. Дядя Иосиф приезжал на поезде раз в неделю (в то время даже иногда на грузовой машине, которую сам, как испытатель, и водил).

Сумерки сгущаются, уплотняются, надежды на перемену жизни нет... И вдруг!.. тете Марусе, известной зачинщице всяких увеселений — приходит мысль —

нарядиться бедными родственниками тети Лиды, приехавшими из Дорогобужа...

Сказано — сделано! Достаем тряпье, «мантильку» сооружаем, шляпку, боа, все это мгновенно на меня, остов проволочных очков — неважно, в полумраке керосиновой лампы не разглядит погрешностей этих старушка (ей за восемьдесят; всегда опрятна, благородна, хоть и сгорблена уже — известная красавица и покорительница сердец в прошлом — и вот, держится!) Тетя Маруся натягивает брюки дяди Йосифа, пиджак, старую шляпу на манер котелка, — надо изобразить, что старички знавали лучшие дни. Тетя Нюта сначала против затеи (Маруся, мать двоих детей и вдруг пускается в маскарад, да с кем! — с девчонкой, с Татьяной); но невольно втягивается и даже соглашается принять на себя часть инсценировки — «тетя Лида, вас там спрашивают двое» — «А? Что? (она глуховата, подслеповата) Кто такие, откуда? — «Из Дорогобужа, говорят» — «Что же надо им?»

И тут входим мы: я начинаю приседать и причитывать, что нам жить негде, нас выселили (тогда это было принято, как мера наказания «бывших» людей). Мой «муж» мне вторит по возможности «мужским» голосом, а больше раскланиваясь и помогая себе мимикой.

Бедная старушка тетя Лида взволнована страшно. Мы, переглядываясь с тетей Нютой, уже сами опа-

саемся последствий нашей затеи. Она все приняла за чистую монету, безоговорочно поверила нашему рассказу (что уже мы там такое жалостное плели — трудно припомнить теперь). Она вся пошла пятнами, стала хвататься то за голову, то за сердце. И все время повторяла: «куда же я вас, как я могу вас приютить, когда я сама живу не платя». (А занимала она действительно в ту зиму крошечную комнатку с окном и занавеской вместо двери). Наконец, кому-то приходит благая мысль положить конец этой сцене и попытаться счастья с «жильем» у соседей, у Мирчинк. У них большой дом, прислуга, все на широкую ногу и поэтому кажется вполне вероятным для обеих сторон, что там «приезжие» найдут столь необходимое им «пристанище».

Мы с тетей Марусей пятимся задом, уже давась от хохота (который, думаем, что сойдет за благодарные слезы), выбегаем, наконец, в кухню, сени, на улицу. Гомерический хохот оглашает сонное царство соседних Сережиных. Огонек светится в доме Мирчинк, а у нашего крыльца стоит грузовая машина дяди Иосифа, в кабину которой мы и залезаем, чтобы насладиться произведенным эффектом и обдумать дальнейшее. Дело в том, что «разведка» в лице тети Нюты доносит нам, как волнуется тетя Лида и не находит себе места. Что-то надо предпринять.

Решаем войти к ней еще раз, и сказать, что, мол, да, действительно нас приютили в соседнем доме и тут

же, на глазах ее, раздеться и развенчать себя. Всё так и сделали. И что же? Когда мы, опять-таки, давясь от хохота, стали стаскивать с себя свои доспехи — тетя Лида была очень озадачена таким оборотом дела и все повторяла: «Ну как это вам удалось так похоже на них нарядиться? Ведь вы в точности выглядели, как они»...

Она, чистая душа, приняла первый визит за вполне правдашнее происшествие и только тому дивилась, как мы сумели скопировать пару «старичков».

Ну, тут уже веселью и хохоту не было конца, с тетей Нютой была прямо истерика от смеха. Она и забыла, что Маруся серьезная замужняя женщина и мать двоих детей. Надо ли говорить, что и мое меланхолическое настроение исчезло без следа!..

Но не так весело всё обернулось для тети Маруси.

Незапланировано, на поезде, приехал дядя Иосиф и, пока шел по Петровскому шоссе и видел включенные фары стоящей у крыльца машины, накалялся гневом. В дом он вошел буквально взбешенным. Не преувеличу, если скажу, что в таком гневе я видела его первый и единственный раз. Он кричал: «это все дети, ты им потворствуешь, руки-ноги обломаю!» — и не слушал тетю Марусю, которая пыталась ему что-то объяснить. А дело все в том было, что мы, заскочив в кабину с переодеванием, нажали нечаянно на кнопку, которая включила фары и, следовательно, разряжался аккумулятор.

Дядя Иосиф был горяч, но отходчив. К концу вечера он, вняв наконец рассказу о нашей затее, смеялся и шутил вместе с нами...

Короткий январский день клонится к концу, и на еще светлом небе красуется серп месяца, гладко накатанная зимняя дорога с рассыпанными дымящимися конскими «яблоками» убегает вдаль... Вдыхаю неповторимые запахи ременной сбруи, сеной трухи, лошадиного пота. Ощущение счастья! Не сон ли это? Еду в санях, настоящих, удобных, ногам тепло, они закрыты полостью. Зимний вечер загадочно меняет лес кругом, хотя Петровское шоссе нам хорошо известно по летним походам.

В селе Петровском заходим в чайную — божественное тепло разливается от горячего чая; как вкусны сладкие бублики! Пускаемся в обратный путь. Напротив меня (я сажу задом к лошади) — крепко прижавшись друг к другу двое — светлые глаза поблескивают из меховых воротников, теплых шапок. И это непокидающее чувство чего-то сказочного, нереального, так не похожего на нашу монотонную голицынскую жизнь...

Потом только узнаю — эта поездка в Петровское была вроде свадебного путешествия по случаю замужества тети Маруси. И меня взяли, — прокатиться!.. Это

и была моя первая, еще мало осознанная, встреча с Иосифом Иосифовичем Кнапп.

Мне было восемь лет...

Семейное предание гласило: претендентов на руку тети Маруси было трое. Петр Аполлонович Волков — муж покойной сестры Лены (отец Мити, моего ровесника); некто Николай Иванович Радциг, коллега дяди Вани, историк; и наш будущий дядя Иосиф. На «смотрины» была приглашена некто Анна Александровна, знакомая бабушки, пожилая дама, за которой была репутация, что она «хорошо разбирается в людях». Она выбрала Иосифа Иосифовича — честь ей и хвала! «Он её действительно любит», — были ее слова.

Ну, конечно, это надо воспринимать с поправками. Тетя Маруся познакомилась с дядей Иосифом во время поездки на пароходе по Волге. И тому, и другой в виде премии на работе были выделены путевки в «плавучий дом отдыха» — так тогда называли подобные путешествия. Там они и познакомились, и, судя по всему, тетя Маруся сразу понравилась дяде Иосифу. Но, по-видимому, речевой барьер и то, как скромно всегда держался дядя Иосиф, не принесли ему сразу успеха. А по приезде в Москву и вовсе дело чуть было не расстроилось. Тетю Марусю встречал дядя Ваня, ее брат, мужчина на редкость обаятельный — она сразу бросилась к нему и встала рядом с дядей Иосифом. Дядя Ваня пошел прочь (это я знаю со слов тети Маруси). Как они

встретились потом, точно мне не известно. Кажется, он подкараулил тетю Марусю около Музучилища, где она училась пению, — все объяснилось к величайшему его удовольствию.

Я думаю, у него это была любовь с первого взгляда. Как-то в минуту откровенности, дядя Иосиф мне рассказывал, насколько отличалась от всей публики на пароходе «Мусенька», и вид при воспоминании этом у него был мечтательный и счастливый.

Молодые поселились в б. Козихинском переулке (дом 9, кв. 18 на первом этаже). Окна комнаты выходили на север, к немалому Марусиному огорчению. Где жил дядя Иосиф до женитьбы, к сожалению, не знаю. Кажется, была где-то меньшая квартира, которую он обменял, б. Козихинском была квадратная, уютная комната. Но, собственно, первые шесть лет жизнь их протекала в основном на Арбате, в квартире у бабушки Пелагеи Захаровны, жившей с тетей Нютой и дядей Ваней, куда каждый из них приходил с работы, обедали там, пили чай, отдыхали, тетя Маруся пела свои упражнения и романсы, да и уроки она брала у Гнесиных, на Собачьей площадке — это рядом с арбатской комнатой. Вечером они уходили к себе в «Казиху», и так каждый день.

В первое лето уехали отдыхать к дальней родственнице под Арзамас, в глухую деревню. Мы жили в те годы с мамой, няней и Сашей в доме у Мирчинк. Зи-

мой очень уединенно, дети много болели, затем учились. Жили мы те зимы еще одни — никто из семьи Мирчинк не зимовал там. И тем радостнее, мало сказать — лучше! — были для нас зимние приезды тети Маруся с дядей Иосифом и дяди Вани. Правда, частенько их сопровождала тетя Нюта — тогда приезды были отравлены. Нас отделяли от взрослых (по ее настоянию), кормили за отдельным столом, обрывали за всякое неуместно сказанное слово.

Короче, она нас (меня) «началила». Излюбленными, но совершенно недозволенными вопросами моими были: «Тетя Маруся, а сколько тебе лет?» Или: «Тетя Маруся, а откуда у тебя это платье?» и т.д. и т.п. Доставалось мне основательно.

Воспоминания о дяде Иосифе в те приезды у меня смутные. А может быть, он и не приезжал зимой в Голицыно, а только тетя Маруся и неженатый еще дядя Ваня?

Ведь его (дядю Иосифа) неравнозначно встретили в семье Полосиных, а тетя Нюта — так прямо в штыки. Была она очень вспыльчива и необузданна в своих словах и поступках. Один случай, особенно запомнившийся, стоит рассказать.

Яркий летний день. Машина (легковая, «М1» — по тем временам — невиданная роскошь, хотя и не личная; дяде Иосифу на заводе, где он работал, давали машины для об катки) набита доотказа. И народ, как

нарочно, самый любимый, самый приятный. Дядя Ваня, брат Федя, кто-то из знакомой молодежи, тетя Маруся и я. Дядя Иосиф за рулем, как всегда сосредоточен, молчалив, с мундштуком в уголке рта, с уверенными движениями крупных рук. Среди пассажиров — содом и гоморра. Смех, шутки, остроты — как бывало всегда в такой компании. Проехав какое-то расстояние, сидящая рядом с водителем тетя Маруся начинает на него с опаской поглядывать. Со стороны трудно заметить что-то беспокойное в нём — он всегда в совершенстве собой владеет.

Мало-помалу и до пассажиров постепенно доходит, что что-то не так — какой-то посторонний звук тревожит чуткое ухо водителя. И по едва уловимому движению бровей это видно и по более жесткой складке рта, сжимающего мундштук. Дядя Ваня отличается повышенной чуткостью и первый задает вопрос: «В чем дело, что-нибудь не в порядке?». Оказывается, машина сильно перегружена и во избежание худших осложнений — двое должны из машины высадиться. Было это где-то в районе Одинцова, решено было, что доедут поездом дядя Ваня и Федя, и весь этот эпизод ничуть не снизил прекрасного настроения всех участников «автопробега». Дядя Иосиф был только чуть смущен, по величайшей деликатности и доброте своей не смог отка-

зять в посадке всей честной компании, хотя и сознавал явную перегруженность машины.

Мы благополучно достигли Голицына, ничего не подозревая, все в том же хорошем расположении духа, входим в дом — вид накрытого стола, аппетитно расставленных закусок (уж это-то Нюта умела, как никто!) — обещает приятное застолье, все проголодались и... вдруг!

Пока мы моем руки, приводим себя в порядок, появляется тетя Нюта с большой сковородой свежеподжаренных котлет. Следует грозный окрик: «А где Вава?» Мы наперебой начинаем рассказывать свое дорожное приключение, объясняем, что вот-вот дядя Ваня и Федя подъедут на поезде... Напрасный труд! Что тут началось! В беднягу дядю Иосифа полетела крышка со сковородки, котлеты рассыпались по столу. Тетя Нюта буквально неистовствовала: «Как ты смел высадить Ваву?! Да это невозможно, неслыханно! Как ты смел!?» Напрасно тетя Маруся пыталась объяснить дело, урезонить ее, говорила, что машина вообще могла сломаться на дороге — она слышать ничего не хотела... «Из-за этой паршивой машины высадить Ваву!!! И пусть бы сломалась, и все вы идите к черту!» — а уж бедного дядю Иосифа какими только эпитетами не награждала! Но, повторяю, выдержка у него была поразительная, и я не помню, чтобы он как-то пытался защитить себя от час-

тенько обрушивавшихся на него нападок, насмешек, издевок со стороны тети Нюты — подчас грубых и бестактных. И никогда не обижался на наши детские насмешки над его произношением (клэб, капуста, дроже — вместо дрожжи, сколько стоит, цирковой калун (вместо клоун) и т.д. и т.п.)

Относительный мир был восстановлен, когда вошли дядя Ваня и Федя, мало того, что целые и невредимые, но и веселые, оживленно беседующие. Дядя Ваня как никто умел вносить умиротворение в дома, где присутствие тети Нюты почти всегда создавало иллюзию жизни на вулкане...

Изменение отношения тети Нюты к дяде Иосифу произошло после смерти бабушки Поли (в начале ноября 1930 г.). Она наконец оценила его сердечные, рыцарские, я бы сказала, отношения ко всем родным тети Маруси, к семье, членом которой он стал. Во время похорон бабушки он молчаливо, ненавязчиво, в высшей степени заботливо ко всем мелочам проявил себя. И вскоре (это было в стиле тети Нюты), перефразируя поговорку «от любви до ненависти один шаг», она признавала, что «переступила не только этот шаг, но даже больше». Она перешла к совершенному его обожанию. И это обожание продолжалось до самого его трагического исчезновения из семьи в феврале 1938 года. Правда, это не мешало ей иногда страстно спорить с ним по

некоторым вопросам идеологического характера, — но это уже другой разговор...

По приезду из Смоленска мы жили круглый год на даче Мирчинк совершенно одни — мама, няня, я и братец Саша. Первая зима прошла в сплошных болезнях; прошло года два — и приехала туда Анастасия Александровна, поселился тети Манин сын Федя с воспитательницей, домработница (они все время менялись) и где-то спустя недолгое время маме пришло в голову купить домик по соседству (принадлежащий Ольге Алекс., матери дяди Юры) и заняться его перестройкой, чтобы в дальнейшем жить отдельно, своей семьей. Маме это стоило невероятных хлопот и трудов; материально ей помогала в этом деле тетя Нюта. Но так или иначе «своей семьи» у нас не получалось, так как, когда домик наконец был приведен в жилое состояние, умерла няня. Одну зиму мы прожили там уже без нее — вдвоем с мамой, так как Сашу после смерти бабушки (няня умерла в июне, а бабушка в ноябре 1930 г.) взяли в Москву. Там же воспитывался еще с 1922 года и Федя — на Арбате, у дяди Вани, бабушки и тети Нюты.

Еще в то время, когда мы жили на даче Мирчинк (в летние месяцы она была страшно перенаселена), к нам приезжала на отпуск еще и тетя Нюта...

... Знойный летний день не сулит особых развлечений или радостей. Надо только «вовремя смыться» с глаз, чтобы тебя не «подсекли».

Тетя Нюта расположилась в гамаке недалеко от дома. Незаметно, крадучись, выскользывает, кое-как одевшись и не причесавшись, из дома. Кусты, канава, спасительная калитка — неужели свобода?! Не тут-то было! «Па-жал-те, пажал-те, пажал-те сюда! — раздаётся торжествующий, победный окрик тети Нюты. Все пропало! Мама на работе, няня не смеет вступить — и вот я уже пригвождена к стулу около ее гамака с ненавистой штопкой чулок в руках... И весь свет померк, и солнце не то, и зелень не для меня! А на проспекте взапуски бегают Люба Кесель, дачница Нина и другие дети — они, счастливы, свободные — а я?! И ведь не приходило в голову послушаться, не вернуться на окрик, убежать. Ей доставляло, чувствовалось, большое удовольствие, «началить» меня («девчонка бегает без присмотра, куда это годится»...). Я же люто ненавидела ее в те времена...

Летнее время в Голицыне проходило монотонно, но не томительно. Для нас каждый поход за грибами или за ягодами был событием. Вставали рано, шли далеко — километров пять, а то и больше. Видимо, и тогда уже близких лесов не осталось. И еще — как мы ждали выходных дней! Приезжали наши любимые тетя Маруся с дядей Иосифом, иногда дядя Ваня.

Мы очень ценили общие работы, которые так умел организовать дядя Иосиф. Работал он без спешки, без суеты всегда неизменно, опрятно, даже щегольски одетый, в то время как у нас было принято одеваться для работы в отрепья. Произвело сенсацию как Иосиф собственноручно вымыл пол в хибарке, причем «даже манжет не замочил и запонки не отстегнул» (рассказывала моя мама). Я тут же стала ныть и уверять — позвольте и мне работать (мыть посуду, садовые работы) в нормальном платье, но разрешения не получила. «Куда тебе — у Иосифа чувствуется европейская привычка».

И действительно — сколько я помню, дядя Иосиф всегда был очень элегантно одет. Чувствовалось умение носить вещи, и костюм его был всегда корректен. Зимой и осенью это было неизменное темное пальто классического покроя; зимой — черная папаха, осенью, летом — шляпа; ни в кепке, ни в берете я его не видела. Костюм летом бывал серый в елочку или клетку; рубашки шились на заказ, пластрон весь в складочках, на кокетке, воротничок пристяжной с задней и передней запонками, с запонками и в манжетах.

Я так живописую эти рубашки, потому что однажды мне, девчонке лет тринадцати в то время, — доверили их гладить, и я гордилась. А гладить-то надо было угольным утюгом — уж тут не зазеваешься! А не то глядишь — и дыру прожечь от выпавшего, уголька ничего

не стоит, и сажей измазать. Даже страшно об этом подумать!

Дело было так: я ужасно ненавидела мыть посуду после обеда — и, если улизнуть вовремя не удавалось, то этого не миновать. Предлагалось взять выдавший виды сальный-пресальный «окаренок» (так называлась лохань с двумя ручками), не менее сальную мочалку, вылить туда согретую на плите горячую воду и... в этой жирной грязи посуду «возюкать». Воду (тем более горячую) — надо было экономить: и можно себе представить, что это было за удовольствие! Моющих средств — только мыло, даже соды почему-то не полагалось. Сполоснуть — нечем. Затем — надо было еще посуду «пертирать» (выражение тети Нюты) — сушилок никаких и в помине не было! Одним словом — не было худшего наказания, как оказаться нагруженной мытьем посуды...

После обеда все собирались на прогулку — это тоже одно из ритуальных и любимых нами времяпровождения Голицынской жизни. Шли «три сестры», шел дядя Иосиф, всегда кто-нибудь из гостивших или приехавших друзей — и дети: брат Саша, я...

Мне вдруг пришла блестящая идея — заменить мытье посуды глажением — и это было благосклонно принято!

Глажение — дело чистое; к тому же я расположилась в саду за рабочим столом. Белья была порядочная стопка — но меня это не смутило (опыта-то не было!). Ну и намучилась же я с этим глажением! Все быстренько собрались и ушли на прогулку, вернулись с прогулки, был поставлен и вскипел самовар, все уселись в саду же под кленами пить чай; оттуда слышались смех, шутки — а я все еще была прикована к гладильной доске... Времени я потратила уйму, но страшно гордилась, что справилась с рубашками дяди Иосифа и даже сложить их сумела по всем правилам, (а это тоже была целая наука). Вот тогда-то я и изучила все особенности пошива этих рубашек.

Шила их «портнишка» из венгерского землячества дяди Иосифа. Ей же заказывали для него (вернее, заказывал он сам) длинные ночные рубашки из белого полотна со сквозной застежки (наподобие халата).

При участии тети Маруси (но так, чтобы тетя Нюта не услышала) мы подсмеивались и потешались над этими рубашками. Ведь дядя Иосиф был единственным мужчиной у нас в семье на всех «трех сестер» и на меня — племянницу... Он добродушно посмеивался на все наши шутки. Незаменимый, золотой характер на фоне всегдашней воркотни и пререканий Нюты...

Вначале дядя Иосиф казался мне феноменально некрасивым. У него лицо было покрыто черными точка-

ми, кожа бугристая — он обгорел в самолете во время войны, был летчиком. Усы рыжеватые, щеточкой, небольшие бачки; волосы прямые, слегка падали с косым пробором на лоб. Глаза серые, внимательные и серьезные, часто чуть грустные. И неизменный мундштук в уголке рта. Папиросы он курил «Герцеговина Флор» в красивых больших коробках; они прекрасно пахли. Тем не менее, в городе курить не разрешалось в комнате (по крайней мере, при тете Марусе). На Арбате он всегда курил на сундучке у двери; в Козихинском — на общей кухне. Когда он приходил к нам с мамой (его семья в те годы жила в Голицыне) — он курил, сидя за столом, с видимым удовольствием, пускал колечки дыма с прищуром глаз, читал что-нибудь.

Становясь взрослее, я стала осознавать, что дядя Иосиф очень даже интересный мужчина. Высокий рост, широкоплечий, с крупными руками и ногами. Голос негромкий, слегка хриловатый. И очень приятная манера держаться. Рыцарь и джентльмен до мозга костей. Основная черта — мужественность; теперь ее так редко встретишь...

В первых числах октября в семье было подряд несколько праздников: 8 октября — Сергей именинник (брат тети Маруси); 9 октября — именины и день рождения дяди Вани (день памяти Иоанна Богослова); 11 октября — день рождения Лены, 12 октября — день рождения дяди Иосифа и 13 октября — день рождения моей

мамы. Мы все ходили скопом в гости друг к другу, но в основном мне вспоминаются празднества в доме тети Маруси.

Каким любезнейшим хозяином бывал дядя Иосиф! Как он умел нас, детей, ободрить, снять смущение, угостить щедро, от души! Надо сказать — даже душевнее и искреннее тети Маруси, не говоря уже о тете Нюте, которая только и норовила что-то у нас «зажать» (в смысле лакомств) и осадить излишние поползновения за ними, чем немало ранила наше самолюбие, делая это нарочито.

И еще: после застолья он имел обыкновение прикинуть к радиоприемнику (Т-235, если не ошибаюсь) и ловить пение венгерских цыган... Частенько ему это удавалось, он закрывал глаза, тихонько подпевал, и глаза были грустные-грустные... Но и тут мне не приходило в голову расспросить его о родине. Как эгоистична молодость!

Когда я в 1960 году побывала в Венгрии, в кабачке «Матиаш Пици», увидела там венгерских цыган, услышала их пение — как я поняла, как вспоминала дядю Иосифа, прикинувшего в далекой Москве тех лет к простенькому радиоприемнику...

Что мы знаем о его жизни в Венгрии? Мы никогда его ни о чем не расспрашивали, а он не рассказывал — по скромности, по деликатности... Не желая навязывать

свое. Только однажды, при чтении сказки «Золотой ключик», где речь идет о девочке с голубыми волосами, он вдруг сказал: «Моего матя тоже зовут Мальвиной». И еще: на вопрос — почему он ушел из дома? — сказал: «там второй муж...»...

Переписывался ли он с домом? В те годы, я думаю, нет. Видимо, поддерживал связь с землячеством в Москве, главой которого был никто иной, как сам Бэла Кун.

Иногда — сидим мы в Козихинской квартире, вдруг — стук в окно (квартира на первом этаже). На вопрос тети Маруси «кто там», возвратившийся дядя Иосиф отвечал: «там портнишка». Только ли портнишкой, изготавливающей ему рубашки, она была? Кто знает. Он куда-то уходил.

Как я уже упоминала, летом в Голицыне не только отдыхали, но и работали. Особенно запомнились «авралы» по разгрузке кирпича (в связи с постройкой дома — его надо было поднимать на фундаменту так как нижние бревна — «венцы» — совершенно сгнили, лёжа непосредственно на земле.)

Кирпича прибыло что-то очень много, целая платформа. Помню, как организовали конвейер по передаче его вручную и по погрузке на телегу верного Тимоши (сын Дарьюшки, — сколько же рейсов он сделал? Или были подспорья?).

Трудился и стар, и млад, да не как-нибудь, а до седьмого пота. Дело было летом, погода жаркт ая; но не принято тогда было «оголяться», а дядю Иосифа я помню не иначе, как в рубашке «апаш» с засученными рукавами. Никаких шортов, теннисок, коротких рукавов не носил никогда.

Затем помню, что оставшийся кирпич укладывали под крыльцо и пристройку. Здесь именно я чувствовала себя героиней дня, так как сидела согбенной в низком помещении и укладывала передаваемые мне кирпичи в штабеля. Почему-то пели «Марш Буденного» и перефразировали слова: «Пускай пожар кругом — ужо — пущай! — мы беззаветные герои... все и вся-то наша жизнь... и т.д. И «как в ночи ясные мы грабили колбасные, и по ночам в лесу мы ели колбасу».

Смех, шутки, прибаутки, словечки!..

Опять-таки — ведь это заслуга дяди Иосифа, что и меня он таким энтузиазмом заразил! Что там говорить, ведь я всегда не прочь была «отлынить» от грязной работы и уединиться за свой маленький столик в кустах калины и рябины (возле хибарки) с альбомом — рисовать или писать...

Зато каким веселым, чудесным бывало после работы застолье, как дядя Иосиф умел каждого похвалить, выделить, заставить поверить в себя! Здесь не место было и окрикам тети Нюты — дядя Иосиф-бы не позво-

лил! Как он заразительно смеялся! Надо ли говорить — я и подросший Саша обожали его и так и жались к нему «под крыло». Нежностей не допускалось, но была хорошая, настоящая мужская рука, спокойное веское слово и пример настоящей мужественности — во всех отношениях. И как же необходимо это было Саше, как же много он обрел в общении с дядей Иосифом — он, отца не помнивший... Счастлива этим общением была и моя мама (за нас) ...

Второй эпизод — установка забора.

На задах у нас были построены два доходных дома, принадлежащих некой старухе, которая и сдавала их под квартиры. В одном из этих домов, в той половине, что подходила к самому нашему забору, жила закадычная подружка моих детских лет Нинка Крупенина. Угол дома почти упирался в наш забор и так как к ним надо было ходить в эту узкую щель — забор все отгибался в нашу сторону и уже почти падал — да и столбы сгнили порядком. В общем, к установке забора готовились основательно.

Здесь уже господствовали дядя Иосиф и Саша. Ошкурили бревна — благо осталось их много после строительства дома. Методично, не спеша. Все было заготовлено — слепи, штакетник — тогда только приступили к выкопке ям для столбов. Это — работа тяжелая, и выполняли ее мужчины, — помогал и Федя. Дядя Иосиф

с его спокойной методичностью, вселял уверенность в «сестер», что все будет хорошо. А они волновались... Тут Саша чувствовал себя в центре внимания — тоже «мужская сила», хотя было ему восемь-девять лет.

Женщины были «на подхвате». В мою обязанность входило поить работающую братию квасом, подавать гвозди и т.д. Надо сказать, что квас в нашем доме делали превосходно, и дядя Иосиф очень его любил. Сами сушили черный хлеб, заливали сухари кипятком, а главное — в бутылки клали 3-5 изюминок, закупоривали пробки специальной машинкой (распаренная пробка вгонялась «заподлицо» в бутылку) и в лежачем положении опускали в подполье. Иной раз даже разрывались бутылки. А квас был — чудо! Пенистый, холодный, берущий «за живое».

Мне очень нравилось его дяде Иосифу преподносить...

Не обошлось без инцидента. В самый разгар работ появилась владелица — старушонка с криком, что мы-де вторгаемся на ее участок (вблизи угла дома). Дядя Иосиф, с рулеткой в одной руке и планом участка в другой, спокойным голосом ей все объяснил, да еще присовокупил, приложив руку к сердцу: «Успокойтесь, мадам, чужой земли мы не хотим, но и своей земли, ни одной пяди своей земли, это, мол, девиз нашей партии».

Старушечка, услышав такие слова, поджала хвост и смылась. А мы все чуть не умерли со смеху и перемывали находчивый отпор дяди Иосифа на все лады!

Ох, и веселились же по окончании установки забора! Усталость была блаженной, отдых — и того лучше. И никогда никакие застолья не сопровождались выпивкой — ничего спиртного, кроме кваса! А веселья — уйма! Но работа-то была не шуточная — кончить установку забора надо было в один день. Рядом — Петровское шоссе, у старухи все заборы — развалюхи, а там — всякая пьянь и сброд всякий. Нельзя было оставить «тылы» без укрепления.

В доме у нас, благодаря тете Марусе, — а жили мы в то время фактически одной семьей, виделись ежедневно, — очень были приняты розыгрыши, маскарад, постановка миниатюр, домашнее музицирование — игра в четыре руки, пение (хорошо пела тетя Маруся). Дядя Иосиф никогда сам не принимал участия во всем этом и даже, по-видимому, его немного шокировало, когда тетя Маруся по роли должна была надевать мужские брюки(!). Но повеселиться и посмеяться он умел и с удовольствием наблюдал наши выдумки.

Один такой розыгрыш мне особенно запомнился. Решили мы написать письмо тете Нюте якобы от имени старичков Беляевых, недавно высланных из Москвы в Рязань. У них когда-то был свой дом; после смерти дедушки И.Г. Полосина, который служил у Беляева управ-

ляющим, семья бабушки пользовалась его (Беляева) покровительством, и представляешь, я с ночным горшком в руках еду в холодном поезде...» и т.д. и т.п.

Я едва сдерживаюсь, чтобы не прыснуть, а дядя Иосиф, ничего не подозревая, в своей всегдашней сочувственно-сдержанной манере только качает головой. Вскоре он собирается уходить, — ему в небольшой чемоданчик укладывают продукты на ужин и на утренний завтрак, и он отправляется к себе в Казиху, чтобы встретить там вернувшуюся после вечерней работы тетю Марусю.

Я не выдерживаю: «Подожди, я пошлю тете Марусе записку», — и там излагаю, что эффект от нашей за-теи превзошел все ожидания.

Вот было смеху, когда тетя Маруся пришла на другой день на Арбат! Во-первых, она рассказала, каким хохотом встретил ее дядя Иосиф, который, конечно же, не удержался и мою записку прочел сам. Хохотать он умел как-то очень постепенно расходясь, так что сдержанный смех его переходил прямо в гогот, и смеялся он уже всем туловищем и сам в это время как-то удивлялся, что так реагирует...

Когда-же тетя Нюта с возмущением стала излагать ей содержание письма Беляева, потрясая им и грозясь, что сейчас же сядет им отвечать — вот уж где разразились хохотом мы, и всё ей выложили... Была потребность в смехе, смех был до истерики. Мое участие под

прикрытием тети Маруси воспринялось милостиво, ни нарисованный штамп, ни подделанный почерк — ничего не заметили. И стиль письма, придуманного тетей Марусей, был признан безупречным...

... Бедняги эти старички вскоре умерли, как-то один за другим. Тетя Нюта, кажется, так и не смогла к ним поехать. Ну, у нее были какие-то свои счеты с Дмитрием Федоровичем — в свое время порядочным ловеласом... А жена его, Екатерина Алексеевна была тишайшая и милейшая старушка в те годы — я ее однажды видела.

Летний жаркий, томительный день сменяется приятным, с чуть сиреневыми оттенками ранним вечером и на нашем голицынском, мирно текущем житее чувствуется — что-то предстоит, чего-то стоит ждать.

Дядя Иосиф готовит в сенях хибарки гуляш... Надо сказать что в то лето, о котором идет речь, было последним летом бабушки Пелагеи Захаровны, и тетя Маруся и дядя Иосиф никуда не поехали отдыхать, как имели обыкновение это делать, а проводили свой отпуск в Голицыне, живя в «хибарке».

Хибарка... Одно это слово будит столько романтических представлений!

Этот небольшой, рубленый из уже посеревших от времени бревен, домик стоял на нашем участке ближе к заднему забору. Состоял он из одной комнаты в три окна,

очень уютной, оклеенной в то лето обоями с букетиками лиловых фиалок по белому фону.

Комната темновата, из-за того, что ее затеняет крыша террасы, на которую вход только из сада. Еще имеются сени и пристройка — в общем, целое подворье.

Так вот, в сенях стоял неизбежный примус на століке, и там готовили еду. Я никогда не помню тетю Марусю за этим занятием, — недаром сложилась знаменитая легенда о покупке моей Любочкой трёх морковок, но об этом после.

Итак — дядя Иосиф готовит гуляш... Почему этот эпизод сохранился у меня в памяти, я до сих пор чувствую — так и щекочет ноздри! — вкусный аромат, и вижу колдующего, с ложкой в руках дядю Иосифа, пробующего, помешивающего и выходящего поминутно в сад, где мы только делаем вид, что заняты какими-то делами, а на самом деле с величайшим нетерпением ожидаем — когда?? Когда будем есть гуляш?!

Дядя Иосиф неизменно приветливо-шутлив, доброжелателен. Делает он все исключительно красиво, артистично. Сам в белой рубашке, элегантен. Наверно — это все особенно действует, так как мы привыкли — тот, кто у плиты, кто готовит (в основном тетя Нюта) — всегда красен, потен, раздражен на всех и вся — только бы не попадаться под руку...

Тут совсем другое, тут — ощущение праздника. И почему-то нет «взрослых» — моей мамы, нет тети Нюты, никого. Тетя Маруся и дядя Иосиф — это наши единомышленники, они — «свои»! Нам, детям, ровня... Гуляш готовится долго — по крайней мере, нам так кажется. Мясо — уже неважное, купленное по карточкам — чересчур жесткое, и все не смягчает — такая информация поступает от «повара». Но ароматы! Но это ожидание! И это ощущение счастья! Ну, и, конечно же, это было прелестно! — в саду, под кленами, за большим столом, дрожа от нетерпения и предвкушения — мы все сидим, смеемся, шутим — это же самое чудесное в таких застольях! И никого не одергивают и не «началют». Я не помню даже вкус этого гуляша — наверно, он был так же очарователен, как запомнившийся запах. И, конечно же, его досталось меньше, чем хотелось бы, но какая прелесть была в том застолье, в этом общении...

Надо сказать, что коюо всем своим талантам, умельца на все руки, дядя Иосиф был еще и первоклассным поваром. А венгерская кухня, как я потом узнала — славится своими знаменитыми острыми блюдами. Помню неоднократно, он нам живописал, как готовится «паприкаш из курица», и собирался при готовить и угостить нас — но, увы! Как я потом узнала, паприкаш был приготовлен и уничтожен в «тесном кругу» по настоянию тети Маруси.

Что ж, это можно понять. Тогда уже становилось плохо с едой, появились карточки, у тети Маруси появились свои маленькие дети, а мы — как саранча; подростки, вечно голодные, растущие, на которых ничего не напасешься — были частенько «принудительным ассортиментом» для их молодой, увеличивающейся семьи.

Но никогда, никогда, как я уже писала — со стороны дяди Иосифа я не помню ни одного косога взгляда, ни одного слова или жеста, который бы показал, что он нами тяготится. Скорее это было со стороны тетюшек. А ведь кто, в сущности, мы были ему? Дети человека, правда, трагически погибшего, но за идею, даже противоположную его идее до известной степени.

Но какова ирония судьбы! Обоих их — и моего отца, и дядю Иосифа — погубил один и тот же карающий меч...

Маму мою дядя Иосиф очень любил, относился к ней дружески внимательно, всегда называл «Веричка»...

В тот год, о котором пойдет речь — зима 1930-1931 года — после смерти бабушки Поли — семья наша разделилась. Не стало нашей нянечки, и в Голицыне жить маме с нами двумя — Сашей и мной — стало трудно.

Она целый день на работе, я — в школе. Саша тоже пошел в школу, но тогда не было групп продленного дня, и он с 12 часов был один во всем доме и предоставлен сам себе. Мама работала в конторе Сельпо счетоводом, и он прибегал к ней несколько раз на дню с

плачем: «Мамочка, лампадку пролил!», «Мамочка, прут от занавески сломал...»

Это осенью, а надвигалась зима с ее чистой снега, дровами, печами и т.д. В общем, решено было, что Сашу возьмут в Москву. Особенно настаивала на этом тетя Нюта, чтобы «не потерять жилплощадь», на которую очень зарился сосед Бачелис. А у семьи уже тогда было много уязвимых мест. Прибавился арест дяди Вани в августе 1930 г. (это долго от бабушки скрывали, она жила тогда в Голицыно, в хибарке).

Как я плакала, когда уезжал Саша! А он, напротив, внешне был деловит и озабочен новой жизнью.

Здесь я позволю себе отступление и выскажу мысль, которую неоднократно потом высказывала маме — не надо было нам разделяться, надо было костяк семьи — нас троих! — сохранить. В то время почти самостоятельным становился Федя, закончил девятилетку, стал работать.

Но, конечно, мне с высоты прожитых лет видно, насколько для мамы важна была опора (она всегда тяготела к сестрам и не ошиблась), а мы ревновали — хотелось своей, обособленной семьи.

Так или иначе — вопрос был решен: Сашу взяли в Москву. Здесь он, конечно, был в основном под началом тети Нюты; но, с другой стороны — мог общаться и

с тетей Марусей и дядей Иосифом, которые были крепко связаны с арбатской комнатой. Тетя Маруся по-прежнему приходила ежедневно с работы в Ленинской библиотеке туда, поджидала дядю Иосифа с обедом; после сидели, читали, изредка музицировали (или тетя Маруся с Федей в четыре руки, или тетя Маруся пела, Федя — в роли концертмейстера). Иногда играли в карты, «девятки», «короли», причем дядя Иосиф — с исключительным азартом!

Я это знаю по тем дням, когда мы приезжали с мамой из Голицына. Я, правда, эти приезды не очень любила после нашей тихой Голицынской жизни. Но, с другой стороны, если удавалось уйти из-под ига тети Нюты, и пообщаться с тетей Марусей — было чудесно!

Помню прогулку к храму Христа Спасителя в соединении с подарком куколки-голыша (!), одевать которых тетя Маруся была большая искусница! У нее хранились фарфоровые куколки с наперсток ростом, одетые во всё, связанное крючком.

Так вот, общие обеды были парадны, музицирование — прекрасно. Надо сказать, что тетя Нюта в такие дни (очевидно, праздники) одевалась нарядно, помню даже белый фартук с кружевами и малиновым бантом... Она пребывала в своей стихии и старалась вовсю для любимого зятя... Готовка была ее коньком — особенно из таких первоклассных продуктов. На фоне общего

ухудшения положения с продуктами в то время был учрежден «Торгсин», где принимали от населения золото и серебро в обмен на так называемые «боны», по которым можно было покупать продукты, промтовары и т.д. Это было для всех, имеющих что сдать, и я помню, как мама, когда, мы со следующего года все переехали в Москву — относила туда серебряные ложки, чтобы купить нам сахар и масло.

С другой стороны, учредили «Инснаб». Эта система предназначалась для снабжения иностранных специалистов, которых тогда было немало. И в эту-то категорию, к его великому смущению, попал и дядя Иосиф. Так или иначе, но даже к нам, в Голицыно, вдруг были привезены такие невиданные вещи как икра, копченая колбаса, невероятно вкусные конфеты — то есть продукты, которые мы, дети, вообще не видели, а взрослые забыли об их существовании со времен «мирного времени» (т.е. до войны).

Передаю со слов тети Маруси...

«Прихожу с работы — на столе деликатесы и записка от дяди Иосифа: «Милая Мусэнька, это только начало».

Ну как тут было не радоваться на фоне общей скудности питания! А тетя Маруся еще в эту зиму переболела воспалением легких. Тогда это считалось очень се-

рьезной болезнью, и лечение в основном — хорошее питание, фрукты.

Но уж кто оказался действительно в своей стихии, так это тетя Нюта! «Инснаб» помещался в помещении Елисейевского магазина. Вход строго по пропускам в маленькую железную дверь в глухих воротах. Витрины все задраены наглухо, чтобы не смущать народ. Но внутри! Замечательное великолепие прилавков, безукоризненно вежливый персонал! Система была такая: у владельца на руках «заборная книжка», в которой выписывали ему каждый раз то, что он хотел взять. Нормы, если и были, то весьма солидного размера, больше для вида, и все исчислялось в ценах 1926 года, то есть в золотых рублях. В общем — сколько чего взять практически было вопросом денег. Наверно, многие так и делали — покупали не только себе, но и родным и знакомым.

Я помню, однажды и меня тетя Нюта взяла в это святилище, и я была поражена... Потом, как я узнала, этим пользовались, конечно же, довольно широкие круги и никаких не иностранцев, а так называемых ответственных работников, т.е. тот круг, из которого дальше выросло снабжение на уровне «кремлевка» и прочих, более высоких категорий...

А дядя Иосиф, видя довольство жены, семьи, все же очень смущался этой, как будто не совсем законной, привилегии. Сам избегал туда ходить. В общем, тут он

весь сказывался, со своей скромностью, нетребовательностью. И ведь он был очень невзыскателен в питании — собственно, хорошую кухню ценил, но уже тогда было заметно, что нуждался он больше не в роскошном, а в диетическом питании — видимо, страдал заболеванием пищеварения..

Тогда же в обязанность Саши входило носить ежедневно обеды (а они были роскошные — осетрина, бифштекс из вырезки) в судках на Сивцев Вражек, для Ольги Васильевны с Еленой. Зная мотовство и экстравагантность О.В., предпочитали этим способом помогать семье дяди Вани во время его отсутствия.

«Зима! Крестьянин, торжествуя», — мысленно декламирую я, везя саночки с дровами от сарая к дому по только что выпавшему первому снегу.

Я живу в Голицыне одна, то есть, конечно, не одна во всем доме, а из всей семьи, без взрослых, без «начальства».

Построила мама дом, но жить в нем пришлось ей мало. С осени 1931 года мы все переехали в Москву.

Мама поступила работать в «Главлесдрев», что в Б. Черкасском переулке, Саша уже второй год учился в московской школе в Староконюшенном переулке (бывшая Медведниковская гимназия), а я, весной окончив семилетку, осталась не у дел —

десятилеток тогда еще не открыли, а в ФЗУ и техникумы принимали с пятнадцати лет. Мне же этой осенью исполнилось четырнадцать.

В голицынском доме поселилась старушка, тетя Лида, (жена З.Г., брата маминого свекра В.Г.), которую мама разыскала в Одинцове в крайне бедственном положении и предложила переехать к нам в Голицыно.

Еще наездами — по 2-3 дня в неделю — жила там Варвара Федоровна — бывшая институтка, преподавательница немецкого языка и музыки. Ученики у нее были и в Москве и в Голицыне. Трудновато ей было в ее далеко немолодом возрасте, с грузной фигурой вести такой образ жизни. Большая труженица эта заслуживала всякого уважения, а мы детьми, конечно же, издевались над ней, про себя звали «бабица-Варварица» и «Зека» — в то время распространенное слово.

Помню даже такой случай: Пасха, лучезарный майский день. Мы все, ребятня, около калитки дома тети Мани толчёмся, играем в разные игры и вслух мечтаем, чтобы В.Ф. не приехала давать нам уроки. «А если приедет», — грозимся мы, — так мы ее в канаву затолкаем».

И тут является Варвара Федоровна — парадная, с красным яичком в руках, которое она дарит брату Саше. Он совершенно потрясен и из лучших верноподданнических чувств выдает ей, к нашему ужасу, наши замыс-

лы: «Варвара Федоровна, а Лешка с Танькой вас в канаву хотят затолкать!.. А они вас «зекой» называют». Мы оторопели от ужаса — вот-то попадет нам от взрослых! Но весь инцидент остался незамеченным благодаря ее такту.

Но я отвлеклась. Жить мне в Голицыне очень нравится и никогда я не знала, что такое скука. Читала, гуляла, каталась на лыжах. Изредка общалась с девочками, которые приходили на урок к В.Ф. Вечерами заглядывала к Мирчинкам послушать патефон, пообщаться со старушками. Излюбленным занятием было прицепляться к проезжавшим розвальням, становясь на полозья или даже плюхаясь на постеленную в санях солому. Иной возница, сидя ко мне спиной то ли не заметит, то ли сделает вид, что не замечает — тут, глядишь, и прокатишься в свое удовольствие. А другой — вредный! — даже кнутовищем замахнется, невзирая на то, что перед ним уже почти взрослая девица. Ну, ничего! Но запах смеси конского навоза, лежалого сена, овчинного тулупа — до сих пор щекочет ноздри...

Много рисовала. К тому времени относится и нарисованный мною портрет тети Лиды. Сходство всех поражало. Но и натура она была завидная — сидела и дремала.

По натуре я созерцатель. Ничего мне не доставляет такого удовольствия, как наблюдать окружающую природу, одной бродить по лесам.

В то время я прямо бредила «Евгением Онегиным», прослушав эту оперу весной, «вывозила в свет» меня тетя Маруся. Я воображала себя то Татьяной, то дворовым мальчиком; быт Лариных в деревне был для меня идеалом.

Конечно, иногда меня вплотную мучали вопросы моей дальнейшей судьбы; я чувствовала, что рано или поздно надо будет вернуться в мир сверстников, школы, забот; но пока, пока!..

Иногда я должна была являться в Москву. Вот где была форменная пытка! Тут уже наша тетя Нюта не упускала случая, «поначалить» меня. Скрашивала жизнь, как всегда, тетя Маруся. В ту зиму у них в семье наметились перемены.. Тетя Маруся уволилась из Ленинской библиотеки и стала ездить вечерами на работу в ЦАГИ. День она проводила на Арбате, пела свои вокализы, вышивала, обедала и ехала на работу. По некоторым приготовлениям, я догадалась, что ожидается у них с дядей Иосифом прибавление семейства — замаячил на горизонте Сергей..

Дядя Иосиф был в восторге, в хорошем настроении; придя с работы, шутил с нами. К моему огорчению он в ту зиму уезжал месяца на 2-3 в Ленинград в коман-

дировку. А когда вернулся — так же приходил обедать после работы, сидел какое-то время на Арбате, курил, читал, беседовал с нами — Федей, Сашей, мною о наших делах. Меня он называл иногда «княгиня» и говорил, что «княгине клецца не дадут», — тогда этим пахло в воздухе, а я, видимо, была с ленцой...

Уходил он вечером, чтобы встретить тетю Марусю после работы уже у себя, в Б. Козихинском переулке.

По вечерам в праздники, кроме музицирования, затевалась иногда игра в карты. Тут уже были все равны, а дядя Иосиф был игроком страшно азартным — вот где сказывался венгерский темперамент! Но больше всего было хохота и подначек его за какие-нибудь словечки. Он же, высоко подняв руку, с картой, эффектно бросал ее на стол со словами «азвиняюсь, азвиняюсь, очень азвиняюсь» — или что-нибудь в этом роде. Если же тетя Маруся — великая изобретательница! — или кто-нибудь из нас, детей, пытались «смухлевать», подтасовать что-то — например, передать карту соседу — он снисходительно, с добрым прищуром глаз, с неизменным мундштуком в уголке рта — заразительно смеялся, великодушно прощал нам, принимая шутку. А вообще играл очень азартно — в этом плане не уступал тете Нюте — страстной картежнице. Играли в «короли», в «подкидного», в «девятку» со ставкой по копейке.

Когда мы подросли, иногда снисходили, чтобы, затеять преферанс, и нас включали. Само присутствие «четы» Кнаппов было нам надежной гарантией от нападок тети Нюты.

Конечно же, он наступил, этот день, — когда надо было прощаться с моей райской жизнью — и наступил совершенно неожиданно.

Помню туманное, мрачное утро начала февраля, мои отчаянные выкрики в адрес Феди: (он приехал за мной и привез эту весть — что меня определили в школу) — «это все ты, ты, ты не хочешь, чтобы я здесь жила, не поеду, не поеду» — рыдала я, захлебываясь слезами. Но чувствовала — все равно ехать нужно....

И в школу меня отводила тетя Маруся, так как занятия велись во вторую смену, и мама была на работе, а одна я идти отказывалась. Тетя Маруся издевалась надо мной: «взрослая девица, как я тебя — за ручку поведу», — но я была непреклонна.

И вот... «ввели в семью чужую»... таковой явился для меня 7-й класс 15-й школы Краснопресненского района(ныне дом № 46 на улице Герцена). Это была единственная в ту зиму школа, где открыли 8-й класс, но, естественно, в 8-й меня устроить не удалось, и было решено, что оставшиеся 5 мес. я буду учиться в седьмом, — с осени 1932 г. восьмые классы открывались повсеместно.

Не буду касаться здесь своих школьных переживаний. Скажу только — невероятно велик был контраст моих прежних представлений обо всем на свете, с тем, с чем столкнулась здесь. Учились во вторую смену. В классе были в большинстве девочки (в нашем седьмом) и только четыре мальчика.

Занятия велись бригадным методом. Например, на уроках истории мы побригадно (по 4-5 чел.) читали учебник, а затем бригадир за всех отвечал урок учителю. Отметки «В/уд» «Уд» и «неуд» (только три оценки было всего) ставились всем членам бригады. Так же и по другим предметам. Меня это устраивало, ничто меня не интересовало; всей своей и школьной жизни, и, вообще, московской я объявила бойкот...

Дома было не лучше. В дневнике тех лет у меня записано... «Такая тоска, Маруся поет, тут над ухом, все так противно»...

Не могла я привыкнуть к жизни в одной комнате. Все время (мне казалось) говорили повышенными голосами или о чем-то спорили. Спали в «закутке» за занавеской (по крайней мере, я; другие — в других закутках). Там же (в закутке) делались уроки при электрическом свете, так как большой общий стол стоял в «фонаре» комнаты и там всегда сидели с какими-то делами (или едой) взрослые.

Тетя Маруся наряду с вечерней работой в ЦАГИ продолжала учиться пению у некой Л.А. Гильвег — старушки...

Помню я особенно ненавистную мне балладу из оперы «Фауст», которую поет Маргарита и которая меня раздражала больше сольфеджио и вокализов. Наверно, и сама тетя Маруся не очень-то ее любила, т.к. рассказывала, что учительница её говорила ей: «Марина Ивановна, ведь она же его любит!» (т.е. Маргарита — Фауста).

У тети Маруси получалось очень монотонно и нудно: «В Фуле жил да был король, он до самой своей сме-е-е-рти»... (Мы тут заканчивали про себя фразу и гоготали) дальше следовало: «Сохранил о милой в память кубок ценный, дорогой!»... и т.д. В общем — нуднейшая вещь! Она запомнилась мне так, как будто вся моя учеба проходила под это пение. Затем нехотя, без аппетита я ела и тащилась в школу. Тетя Маруся уходила на работу позднее.

Но что-то в конце той зимы, с наступлением весны, во мне переломилось... Я жила как бы двойной жизнью — внешней и потаенной...

Никогда после не тревожили меня так огни вечерней Москвы, никогда так не бил в ноздри запах пробуждающейся, еще далекой весны, никогда не испытывала такого трепета от вида влюбленных парочек, прода-

ющейся мимозы; что-то било во мне ключом, пробуждалось, бушевало...

Мне шел пятнадцатый год...

А внешне жила я серой, скучной, нелюдимою жизнью. Мама меня не допекала, оставила в покое. Тетушка (тетя Нюта) в своем репертуаре старалась поддеть и унижить, довести до слез. Помню, сидела я за занавеской и красками (подаренными Федей) по памяти рисовала голицынские пейзажи — вечернее небо, лесная дорога...

Увидела тетя Нюта — обрушилась на меня: «Вот, воображает, что хорошо рисует, что художником будет. Чем этой ерундой заниматься, лучше бы чулки штопала» и т.д. и т.п. Надо сказать, что такого она себе не позволяла ни при тете Марусе, ни при дядя Иосифе. А то еще: «Ты у меня брала конфеты, я ведь пересчитала» (лезет в буфет, берет вазу); «тут было», — говорит явно наобум, больше, чем на самом деле есть. И начинается нуднейшая и унижительная «выволочка», особенно нестерпимая, если сидел кто-нибудь знакомых...

Вся в слезах, близкая к полному трансу, вылетаю из дома, — доказывать свою невиновность бесполезно. Но позор, позор! Он кажется несмываемым. И результат был таков: «э, была не была — все равно обвинят» — надо «тырить» конфеты. И тырили...

Но я отвлеклась. Как я уже писала, дядя Иосиф живо интересовался нашими всеми и особенно школьными делами.

Мама любила ходить на родительские собрания. Я этого терпеть не могла и всегда ее отговаривала. И не потому, что думала, она плохое обо мне услышит, нет — я, в общем-то, была в школе на хорошем счету. Но мама все равно исправно ходила и, видимо, делилась впечатлениями от собрания с дядей Иосифом, потому что он мне рассказывал (со слов мамы): «Хвалили мальчика Мишеньку» (т.е. Мищенко — нашего «профессора» и всезнайку! А с мамой я была замкнута, не откровенна; с дядей Иосифом — полный контакт.

... Перечитываю страницы, написанные ранее и так вживаюсь, так переношусь не только мыслями, а мне кажется — оживаю вновь пятнадцатилетней.

Не удовлетворена — мне кажется, бессильно моё перо передать силу моих эмоций того времени — при всем внешнем весьма скромном облике девочки с косичками и с потупленными глазками, неуклюжей, с фигурой угловатого подростка, одетой в перешитое тетей Маней платье и нянину вязаную кофту.

Это было внешне. А внутри бушевали страсти. Первая любовь! Но она не была связана со школой; свое сердечко я оставила в Голицыне...

Весна наступала бурно, стремительно. Для меня она была интересна только одним — скорее попасть в Голицыно»

Случай явно мне благоприятствовал: затевался переезд тети Маруси на лоно природы, в хибарку, чтобы там провести остающиеся до родов месяцы. Она уволилась из ЦАГИ — и вот, помню, 6 мая 1932 года — я еду в кузове грузовой машины. В кабине тетя Маруся, машину, кажется, ведет шофер, а мы с дядей Иосифом расположились на мягких креслах гостиного гарнитура — переезжали основательно, жить собирались с уютом.

В остальные свои приезды этой весной помню патриархальный быт, уютные чаепития в саду, распольневшую тетю Марусю, хлопчущую над клумбами с цветами — около хибарки она разбила с помощью дяди Иосифа хороший цветник.

И лето затем наступило очень жаркое. И я, в свой час закончив ненавистные занятия в московской школе — наконец, живу в Голицыне (в большом доме), тетя Маруся занята шитьем бесконечных распашонок и прочего приданого.

Тетя Нюта, как насадка над нею; дядя Иосиф — само внимание и предупредительность.

Не помню, как тетю Марусю увезли, но хорошо помню ее возвращение — это было 18 июля 1932 года — такую нарядную, постройневшую, в моем любимом кра-

сивом платье — из шелкового полотна, на белом фоне очень яркий геометрический рисунок, пышная юбка и все оторочено черным кантом.

И сверточек!.. Вот тоже — совершенно не помню новорожденного Сергея! Или это меня шокировало? Или чувствовала конкуренцию? Особенно остро, видимо, ревновал брат Саша, ведь не имея несколько лет детей, стоял даже вопрос об его усыновлении четой Кнаппов — но мама не согласилась.

Было решено — зимовать в Голицыно тете Марусе с младенцем (иначе мы его не называли) и тете Нюте. Дядя Иосиф оставался в Москве на холостяцком положении. Он по-прежнему много времени проводил на Арбате — скучал без семьи, это было видно. Рассказывал о подрастающем сыне: «Сирожка за псё кватается, за псё...» Ездил в Голицыно два раза, в неделю, навьюченный громадным рюкзаком, — видимо, в тот год машин» (может быть, временно) не было в его пользовании.

Помню, нас поражало (в том числе и мою маму): как он в один и тот же рюкзак упаковывал (очень аккуратно!) керосин (и его приходилось возить тогда!) и прочие продукты — хлеб, масло. С «Инснабом» (хорошо помню!) в то время тоже был перебой. И все сожалели: «Вот бы когда маленькому так нужно...» и проч. Но, видимо, это потом восстановили.

Все время остро стоял вопрос о квартире. Тетя Маруся бредила отдельной квартирой с теплой уборной (так тогда говорили. Увы! Она так ее и не получила: как на Козихинском, так и в Ново-Конюшенном туалет был холодным).

В то время тетя Маруся в Голицыне много читала, много гуляла; тетя Нюта топила печи. Готовили, в основном, на плите — тоже большая работа. Много помогала Лобова — и по дому, и по шитью: называлась она у нас с тетей Марусей то «Мадам Пупон», то «Мадам Лобик», — на французский лад. Увлекались мы тогда некоей французской повестью и друг друга называли: она меня — «потаскушкой», я ее — «пестуньей». Еще было: «девка ехидная, рыла круглая» (я) и «попик тощенький» — (она), так как на ночь распускала волосы, которые были не густы — «первые от рождения» — на что она сетовала.

В Москве жизнь шла своим чередом. Мы с Сашей учились, самозабвенно дрались — в дело шли венские стулья, которыми метали друг в друга; но это не мешало нам быть закадычными, преданными друзьями. Были свои преимущества — не было тетушки Нюты — и было вольготно: мама целый день на работе. Но зато не было тети Маруси, и все-таки редко общались с дядей Иосифом — он был поглощен семьей. Общения с ними очень не хватало.

Боюсь, буду повторяться, но летние месяцы в Голицыне имели какую-то особую, притягательную силу.

В чем было дело? Ведь и развлечений никаких особенно. Любили дальние прогулки. В дождливые дни — чтение вслух. Это сообщца. А по отдельности — рисование и мечтания, и шитье и прочее рукоделие, в котором тетя Маруся была большая искусница. Интересно было болтать и примерять, делиться планами. Лишь бы не вцепилась тетя Нюта и не направила на одну из своих ненавистных повинностей. И еще: играли в пословицы — кто больше скажет к случаю, к месту «посмешнее». Забегали из большого дома в хибарку, где летом резиденция тети Маруси, и сыпали, сыпали: «на чужой каравай рот не разевай», «незванный гость хуже татарина», и так на подначках до хохота и гогота. Включался и дядя Иосиф, и своим неправильным произношением вносил еще больше восторга и улюлюканья (например, он говорил: «не так страшен черт, как его малютка, вместо — малюют».

Из репертуара тети Маруси (романс)..

В тени задумчивого сада
Где по обрыву над рекой
Ползет зеленая ограда
Кустов акации густой
Где так жасмин благоухает

Где ива плачет над водой
Где платье белое мелькает...
И ты, малютка...

Дальше не помню, не знаю, чьи слова. Но мелодию помню хорошо.

Ничего не могу пропеть без слез.

Несколько торжественно, с помпой, было обставлено появление на свет Сережи, настолько незаметно появилась Илоночка...

Связь с Голицыным в зимние месяцы была редка и вот, помню, должно быть в конце зимы возник у нас на Арбате Дмитрий Георгиевич (духовный пастырь бабушки Поли; он же ее и отпевал; сделался другом дома и в упомянутый период тоже жил в Голицыне, наезжал в Москву, где-то почти нелегально совершая «требы») и сказал, что «Мария Ивановна ждет ребенка» и как, мол, это несвоевременно, такая тяжелая жизнь». Действительно, в то время (конец 1933 и начало 1934) стало особенно плохо с продуктами, ввели карточки на хлеб, масло, мясо; перестали давать «Инснаб» семье Кнаппов.

Но мама моя весьма строго осадилла Дмитрия Георгиевича: «Как вы, духовное лицо, можете так говорить? Да ведь в писании сказано: будет день, будет и хлеб», — и смущенный пастырь замолчал. Он вообще был добродушный, симпатичный старичок, и мы в детстве относились к нему хорошо. Тетя Маруся с легким

юмором звала его «старче», и мы за ней (разумеется, за глаза).

Наверное, на этот период наши голицынские отшельницы — тетя Маруся с Сережей и тетя Нюта — переехали в Москву. Не помню, в каком родильном доме это событие совершилось (23 апреля 1934 года). Не помню тоже и новорожденную Илоночку — к тому времени уже была захвачена школьной жизнью.

Хорошо запомнила ее, когда уже летом 1934 года, то есть когда ей было месяца три-четыре, носил на руках «торчком», не сводил с нее восторженных глаз дядя Иосиф. Видимо, она напоминала ему (возможно) его мать.

Насколько Сережа был вылитая тетя Маруся, настолько Илоночка своеобразна, ни на кого из известных лиц не похожа. Большие голубые глаза, какая-то неуловимая неправильность в личике, очень живая, бойкая, инициативная — очень скоро она «подмяла» старшего брата под себя и стала настоящим коноводом и среди прочей детворы.

Осенью 1935 года тетя Маруся наконец решилась переехать в Москву, в свою козихинскую комнату. Конечно, им было тесно там, но она, большая уютница, умела приспособиться к любой обстановке — рядом с большой супружеской кроватью поставили теперь уже две детские кроватки, — и всегда у них в комнате было чисто и приветливо. По-прежнему у другой стены, клавиатурой к окну стоял большой рояль — тетя Маруся не

хотела с ним расстаться, он ей нужен был, как воздух, «для души». Тетя Нюта, кочуя на Арбате, проводила в «Казихе» целые дни, помогая тете Марусе.

Моя мама, бывало, скажет ей в воскресное утро: «Ну, чего ты так летишь к ним, дай им одним побыть на свободе», — но нет! Тетушка все равно неслась туда ни свет ни заря, часов с семи утра, как на пожар... даже, извините, ночная посуда выносилась уже в шапке...

Илоночка развивалась стремительно; очень рано начала говорить, хотя были и довольно долго оставались) в ее речи неправильности. Например, она меня звала «Каня», вместо «д» говорила «г», и мы смеялись: «Лиля, скажи — давно, давно» — и она сыпала вместо «д» «г», а мы хохотали до упаду.

Сначала она почему-то очень критически относилась ко мне — мне? — тогда уже взрослой восемнадцатилетней девице! Невзлюбила меня, я злилась, про себя переживала.

Например, она дразнила меня: «Канька пахаля, Каня хулилам». Очень заметно предпочитала мужской пол — становилась кокетливой, «завлекала» даже взрослых молодых мужчин. И требовала: «Нюта, Нюта, одень мне синенькую юбочку» — какой-то нарядный в то время туалет.

Когда тетя Маруся пела с ними (Сережей и Илоной) детские песенки — она явно забивала Сережу, и Сережу нудил: «Ы-ы, не хочу, чтоб Илона пела», — а та

жарит себе и поддает громким голосом любимую песенку и ни на кого не обращает внимания.

Потом она вдруг переменяла ко мне отношение, стала поглядывать уже с симпатией и говорила: «Каня, ты молодая женщина, и я тебя люблю». Тут у нас мир был заключен; мы с нею шли на прогулку — в этом моем возрасте мне уже импонировало идти с маленьким ребенком, тогда как Сережу я полностью игнорировала — еще и из-за ревности к тете Марусе.

Илона была совсем крошкой — не было ей и четырех лет, когда в семье случилось страшное несчастье — арестовали дядю Иосифа (20 февраля 1938 года).

Тетя Маруся сразу же решила обменять свою Козихинскую квартиру — тогда и поселились они в Ново-конюшенном переулке, д. 14кв. 4, (недалеко от Зубовской площади). Комнатка здесь была меньше (всего 16 м вместо 18), но вся залитая солнцем. Правда, было дровяное отопление — но все окупалось тем, что в квартире жили милые и добрые знакомые тети Маруси, ее бывшие сослуживцы по Ленинской библиотеке и их семьи. Обстановка в квартире была дружелюбная и приятная.

Был хороший двор для игр детей, тогда как в «Казихе» ничего этого не было. Тут уж инициативный характер Илоночки полностью проявился. Она стала королевой всех дворовых ребятишек. По-прежнему Сережа плелся за нею в хвосте.



Тете Нюте приходилось труднее (надо было ездить узнавать о дяде Иосифе на окраину Москвы под названием «Матросская тишина», — там выдавали справки об арестованных; позднее — возить передачи).

Тетя Маруся сразу поступила на работу в библиотеку, кажется, текстильного института, ей приходилось много разъезжать по командировкам.

Дети много времени (днем), были предоставлены самим себе. К этому времени относятся и первые конфликты между тетей Нютой и чересчур своевольной Илоночкой. Находила коса на камень... Когда первое время после их переезда кто-либо из посторонних входил в квартиру и, пораженный шумом и гамом восклицал: «Да откуда же так много детей?» — Илоночка парировала: «От Кнаппов»...

В последующие годы я, к сожалению, все меньше и меньше общалась с семьей тети Маруси... Затягивали занятия в институте, допоздна сидели в лабораториях при прохождении курса количественного и качественного анализа, много времени проводила в библиотеке (в читальне), ранним летом обычно уже уезжала на производственную практику до поздней осени (получала там, конечно, письма от родных). Из писем, в основном, и узнавала семейные новости.

Так, в сентябре 1939 года мне брат Саша писал в Соликамск, где я в то время работала по изысканиям для строительства Гидроузла: «Последняя новость — Лильку отдадут учиться танцам в Горный институт». Потом говорили, что она делала там значительные успехи. Тетя Маруся всегда одевала ее как куколку, а изящества, грации у нее было предостаточно.

На тетю Марусю сразу свалилась непосильная нагрузка — она стала главой семьи. Еще и в предыдущие годы, даже летом — она подрабатывала перепечатыванием на машинке рукописей писателей — в Голицыне был Дом творчества. Видимо, инженерного заработка дяди Иосифа не хватало для семьи. Помню разговоры о деньгах, о подсчетах купленных продуктов между тетей Нютой и тетей Марусей. Последняя недовольна была «мотовством» тети Нюты, а та, любя постряпать, закупала всего помногу, — топленое масло стояло большими банками, и она всегда оправдывалась: «Марусенька, но без этого же нельзя, я люблю, чтоб было» (в запасе, имелось в виду). Тетя Маруся возражала: «Нюта, пойми, я не могу столько тратить».

Действительно, ведь кроме питания надо было еще и на одежду для всех членов семьи; кроме того ей, с ее любовью к уюту, всегда хотелось приобрести что-то и для дома. Помню, как она рассказывала о переживаемых колебаниях — купить или не купить каких-то вазо-

чек, полочек для украшения комнаты. Вышивала, вязала и почти все шила детям она сама из имеющегося дома; но хотелось красиво одеться и самой: не избежать было отдавать что-то портнихе. Опять же и на театр, развлечения нужны были деньги.

Но все это рухнуло; оказалась она лицом к лицу с грозной действительностью...

На работу долго не принимали; как только увидят анкету — отказ: «мест нет».

Наконец устроиться удалось на не очень подходящую работу. Одни разъезды чего стоили: тетя Маруся их не любила. «Клинцы» я запомнила, — Клинцы Брянской области, куда она часто тогда ездила в командировки, по ревизии библиотек.





... 25 июня 1940 года я защитила дипломный проект. Была на подъеме, чувствовала себя именинницей и все последующие за этой датой дни проводила, блаженствуя. Незаметно подкралась тревога о голицынских событиях: стали доходить слухи, что в Голицыне заболела Илоночка.

Тетя Маруся, как и все последние годы (1938-1940) проводила в Голицыне свой отпуск, — это было все, что у нее осталось, и в чем она так нуждалась при ее тяжелой работе. Отпуск был неприкосновенным — никаких поездок в город, даже у меня в день защиты не принимала участия в застолье.

Уж не помню как и с кем — видимо, привозила тетя Нюта — сдавались на анализ в лабораторию (в Москве) мазки из зева и носа Илоночки; мне надо было звонить в дневное время, туда. Я добросовестно это исполняла, но все время слышала один и тот же ответ: «палочки Лёффера не найдены». На звонки тети Нюты из Голицына я так и отвечала.

Мазки сдавались, по-видимому, неоднократно — и я звонила не один день. Все это успокаивало, и Илоночку из Голицына не привозили (температура нее была нормальная).

Помню опять-таки отголоски разговора соседней тети Маруси по Новоконюшенному: «Привезла Маруся Илоночку — краше в гроб кладут».

А температура все время оставалась нормальной. Это были уже первые числа июля — и ее сразу же положили в Морозовскую детскую больницу. Дальше события развивались стремительно — Илоночке становилось все хуже и хуже. Она уже ничего не могла проглотить, с трудом дышала. Видимо, момент для введения сыворотки был упущен и дифтерийный яд проник в жизненно-важные органы — была поражена смертельно сердечная мышца, органы дыхания...

7 июля 1940 года Илоночки не стало... Узнать ее в гробу было невозможно: она очень сильно вытянулась и при обритой наголо головке выглядела подростком-юношей, а не шестилетней девочкой. Этому впечатлению способствовала и печать страданий на застывшем личике.

Горю тети Маруси не было границ. Конечно, никогда ни прежде, ни после я не видела ее в таком состоянии. Её узнать нельзя было.

Все это время, что лежала в больнице Илоночка, Сережа оставался в Голицыне под присмотром Марии Александровны Бекетовой. И вот в день похорон Илоночки сообщили, что в Голицыне заболел Сережа и тоже будто бы жалуется на горло. Тут уж тетя Маруся совсем обезумела. Но, к счастью, скоро пришло известие, что ничего серьезного нет, а затем и Сережа с Марией Александровной появились в Москве.

Осенью, после окончания Геолого-разведочного института, я по распределению поступила (3 сентября 1940 г.) в Московское Государственное Геологическое Управление. Находилось оно в Рыбном переулке, д.3 (сейчас там вблизи гостиница «Россия»). Мама продолжала работать в Главлесдреве в Большом Черкасском переулке, и мы часто шли с нею вместе на работу пешком — с Арбата по улице Калинина, Манежной и Красной площадям, мимо бездействующего тогда Гума, — хорошая прогулка минут на сорок. Дисциплина тогда была строгая — ровно по звонку запиралась табельная доска, и за пятиминутное опоздание отдавали под суд.

У меня была разъездная работа — инженер-гидрогеолог по обслуживанию артезианских скважин — раз или два в неделю я выписывала пропуск, причём старалась его оформить «до конца дня», то есть, чтобы после поездки уже не являться в Управление. Ездила в Горки Ленинские, в Переделкино, в Кусково. А иногда и дальше — Солнечногорск, например, — тогда уже это занимала целый день с утра до позднего вечера.

Как ни тяжелы были эти поездки — я их предпочитала сидению в Управлении — там была тоска: дела настоящего не было, народ серый, неинтересный.

Подошла весна 1941 года. Накануне войны многим казалось, что война как-то отсрочена (приезд Риббентропа, его заверения); также тогда казалось и мне. Я решила оформиться в полевую партию начальником отряда (стала получать 650 рублей!). Работы должны были вестись в Тульской и Московской областях — подмосковный угольный бассейн. 7 мая я была уже в поле. С рюкзаком за плечами мы с Т.А. Шапкиной (мой техник) делали заездные маршруты, пока из Серпухова, где у нас была база; Д.Д. Беляев, наш начальник, представлял в Туле.

С момента выезда в поле до 22 июня — начала войны — выпало ещё немало безоблачных дней. Работа наша была тяжелая, целый день на ногах. Приходилось возить из Москвы недельный запас продовольствия — в основном хлеб. Чем мы питались в маршрутах? Помню гороховый концентрат, который мы запасли в больших количествах и, разведя его кипятком, ели на завтрак и на ужин. В деревнях ничего купить было нельзя — ни молока, ни яиц. Иногда приходилось и ночевать в деревне — бывали маршруты на два-три дня — тогда мы брали и несли с собой ещё и спальные мешки. Устраивались на полу, по страшному кормили блох и клопов. Хорошо, если удавалось получить кипяток — хозяева были крайне не приветливы. В рюкзаках мы несли запас еды, образцы пород, полевую лабораторию

для первичных анализов воды. Барометр-анероид, геологический молоток. К субботе дела закругляли, возвращались на базу в Серпухове, приводили себя в порядок и ехали в Москву. Иногда в тот же вечер я шла с Николаем Васильевичем (он проходил тогда «жениховский стаж») в кино или в театр — билеты брались заранее. Приятно было после пыли и грязи надеть чистую городскую одежду, помыться, лечь в свою постель. Воскресный день проходил не менее приятно. В понедельник утром рано выезжали из дома, чтобы к началу рабочего дня быть в Серпухове — это три часа езды.

Иногда на воскресенье ко мне приезжал Николай Васильевич. Тогда мы шли вдвоём на Оку, устраивали пикник. Тамара — уже семейная женщина, хоть и моя ровесница — над нами посмеивалась: «так и вы женитесь этим летом».

И действительно — это произошло 20 июля 1941 года — в очередной мой приезд в Москву мы отправились в ЗАГС, что в переулке у Дома Учёных, записали нас, мы заплатили три рубля, и нас объявили мужем и женой. Я не знала — зачем так торопиться? Но Николай Васильевич сказал: «Война, мы можем потерять друг друга», — очень он хотел, чтобы у него в паспорте был штамп регистрации...



День свадьбы
Н.В. Турбин и Т.В. Залеская, июль, 1941 г.

Мы зашли в Дом Учёных, выпили бутылку шампанского — тут нас и засекала Ольга Васильевна, и тут же они с дядей Ваней присоединились к нам. Это и была наша свадьба. Вечером, как всегда, мы расстались у подъезда нашего дома на Арбате, 27, а наутро я уже уезжала в Серпухов. Николай Васильевич приехал меня проводить на вокзал и помню: я смотрю на него, как он смешно бежит через площадь и думаю: «Неужели это мой муж, как странно»...

В связи с упоминанием о странностях замужней жизни позволю себе тут некое отступление, которое назову, пожалуй...

Поездка к Зеликовым

... В одно из воскресений августа 1941 года мы (в то время молодожены), услышали довольно энергичный стук в дверь нашей арбатской комнаты.

Час был, конечно, не ранний, но... у нас не было ни малейшего желания покидать постель.

«Авось, обойдется, может быть, кто по ошибке», — решили меж собой, и открывать не торопились. Однако стук повторился, — еще и еще, и потом уже прямо перешел в барабанную дробь.

Сомнений не было — к нам! Нехотя, кое-как накинув халатик, открывать дверь направилась я. И кого же я увидела на пороге? «Ленушеньку, мою деточку», —

так всегда ласково называл дядя Ваня свою единственную дочурку, а мою двоюродную сестру. Семья их жила тогда в 15 минутах ходьбы от нас, — «Сивцев Вражек, дом двенадцать, квартира шестнадцать», — так, еще малышкой, рапортовала всем Ленишенька.

Она, Леночка, в то время длинноногий тринадцатилетний подросток, высокая и крупная, сразу с места в карьер развеяла наши надежды, что, может быть, как-нибудь удастся от нее отделаться.

«Ну, скорее собирайтесь, сони этикие, да вы знаете, ко-торый час? Погода чудесная, солнечная, я пришла за вами, чтобы ехать на дачу к Зеликовым, это совсем недалеко, 52-й км по Казанской дороге, они будут так рады, так рады, они нас накормят обедом и дадут с собой огурцов!», — тараторила она без остановки.

Что такое? Мы (особенно Коля) в полном недоумении. Он еще не очнулся от дремотной неги и, хмурый, недовольный, молчит.

Разговор веду я, — я немного знакома и с характером Лениши и с непредсказуемостью (если не сказать экстравагантностью) поведения и поступков Ленишкиной семьи.

Сразу вижу — дело безнадежно, придется подчиниться.

Коля, еще весь охваченный негой теплой постели, не совсем еще проснувшийся — злой до невозможности. Однако начинает одеваться.

Ленуша ждет, торопит; день за окном — чудо солнечное, и жара чувствуется — типичный август в Москве.

Я стараюсь разрядить обстановку; начинаю вторить Ленушеньке, объяснять Коле — что не так уж плохо провести день на воздухе; поездка за город начинает понемногу сулить некоторые приятности, которыми я и стараюсь зарядить своего молодого супруга, развеять его мрачность.

Напрасный труд! Разговор ведем мы с Леночкой; в метро, и в битком набитой электричке Коля сохраняет надутость и демонстрирует вид «жертвы».

Едем долго; мы с Ленушей трещим неумолчно, мною постепенно овладевает чувство голода, и я думаю: «дома-то у нас все равно обеда нет, а там, куда мы едем, нам обещан обед да еще огурцы на вынос!». Ради этого стоит простоять час-полтора в тесно спрессованной толпе воскресных пассажиров.

Далее — надо сказать подробности несколько затуманенные. Помню только, что от станций мы страшно долго шли; с трудом отыскивали нужную дачу (как оказалось, Ленушенька сама у них никогда не была и адрес знала понаслышке).

Я-то в то время была склонна к легкому восприятию жизни (если бы не подсасывало в желудке) — ну, а Коля был по-настоящему зол. Ленушенька тараторила,

как ни в чем не бывало. Короче: дачу мы нашли, вызвали, конечно, полное недоумение своим появлением и — увы! — ни об обеде, ни об огурцах и помину не было.

Измученные, поздно вечером в еще более переполненной электричке мы вернулись домой.

... «История эта имеет свое продолжение. Война раскидала всех по эвакуациям; затем сразу после войны мы переехали из Москвы в Ленинград, потом в Минск — и вот в один из дней начала мая 1964 года я получаю от Ленушеньки открытку:

«Будем у вас в Минске проездом на машине в Брест вместе с мужем».

Мужа Леночки, Вячеслава Ивановича Стрельцова, я ни разу не видела и стала хлопотать, чтобы получше их встретить и принять. Еще бы! Столько лет не виделись! В Минске у меня — никого родных! Так будет приятно! Столько было потерь за эти годы (мы с нею потеряли своих родителей).

Дети мои, все трое, тоже были очень рады, — девочки-то видели Ленушеньку, когда она в 1953 году (еще в девичестве) приезжала к нам в Ленинград, а вот Васенька ее совсем не знал.

Я помню, что срочно позвала мастера перебить диван в гостиной, — для меня это героизм, я не очень-то умею хлопотать над усовершенствованием быта.

Они приехали втроем; с ними был еще брат Вячеслава Ивановича. Стол был парадно накрыт в нашей, такой светлой, приятной, угловой комнате с балконом, выходящем прямо в парк! Ленушенька — прежняя болтушка, веселушка и тараторка. Вячеслава Ивановича я немного стесняюсь, — он сдержан, безупречных манер, крупный, говорит густым басом.

Входит Коля. Я боялась его появления, скажу честно. И не зря...

Ленушенька бросается к нему с милым английским приветствием (тогда все увлекались английским языком), а в ответ — холодный кивок, мрачный взгляд.

Как мне было тяжело!

Легкое, хорошее настроение, усилия моего гостеприимства были сбиты.

Потом мы фотографировались на нашем балконе; Леночек, как всегда, очень фривольно приподнимала юбку (а навстречу шла публика из парка, и наш балкон был на всеобщем обозрении). Хохотали, шутили мы с нею. Потом все пошли гулять по Минску, шли через парк моим любимым Войсковым переулком — мимо «дворца», специально построенного к посещению Хрущева. Был май месяц, и зелень вокруг в этом районе была очаровательна! Цвели каштаны, через ограды свешивались гроздьи сирени.

Вернулись в сумерках.

Машина их была подогнана багажником к нашему входу со двора. Нравы были еще таковы, что как-то за машину не опасались — забрали вещи в квартиру, заперли машину — и все!

Еще был эпизод. Ленушенька, с её непосредственностью, тут же, у крыльца открыла свои ларец с «драгоценностями» (украшениями, которых у нее всегда была уйма), и начала их демонстрировать.

А надо сказать, что это было время борьбы с «валютчиками», и как раз в Минске недавно прогремел очень шумный процесс такого рода. Я в ужасе: люди идут, заглядываются; тетя Лена-дворничиха тут как тут с метлой, ушки на макушке...

И тут, к моему великому огорчению, Ленуша вдруг объявляет, что они уже сейчас поедут дальше, ночевать не будут...

Мне с большим трудом стоило их отговорить, аргументируя, что они просто обидят меня. Они остались. Супруги заняли детскую комнату, Владимир Иванович спал на обновленном диване, девочек перевели в кабинет, Васяшу — в спальню. Коля продолжал дуться. Рано утром они уехали...

Прошел еще не один десяток лет. В Москве мы часто виделись, Ленушенька с Вячеславом Ивановичем были у нас в гостях на 60-летнем юбилее Коли.

Потом... какая-то черная коша пробежала между нами, и мы поссорились с нею, как «Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Глупо, в высшей степени!

Но, слава Богу, теперь и это все позади; мы видимся по-прежнему часто, и как особенно теперь я ценю Ленушеньку — прямо как эликсир бодрости; только она и способна вдыхать в меня жизнь; легкий характер. Как это замечательно! Заразительный смех — да это чудесно!

Я бываю у нее часто, но вот беда: Коля по-прежнему с нею неприветлив. Она-то, молодец, не обращает на это внимания, и любезна и мила с ним.

Но, как-то сидя у Ленушеньки за чашкой кофе в ее комнате-музее, я вдруг вспомнила эту историю с поездкой к Зеликовым — более чем пятидесятилетней давности.

Леночка, конечно, ее совершенно не помнила. Мы сидели, вспоминали (с моих слов), хохотали — и вот к какому выводу я пришла; не за ту ли поездку в бытность нашу молодоженами Коля ее невзлюбил? Спросила мужа: «а помнишь поездку к Зеликовым? — и представить только! — он, который не помнит гораздо более значительных событий нашей семейной жизни (не помнит даже даты рождений наших детей, да и эпизодов их детства), оказывается, — да! — поездку к Беликовым помнит!.. Невероятно!

Ну, тут стала мне совершенно ясна его неприязнь к Ленушеньке, его неприветливость — до сих пор! И недавно, в день восьмидесяти двухлетия Коли, он не только это подтвердил публично, но и оснастил эту поездку такими подробностями, которых и я не помнила...

Он рассказал, что он там (у Зеликовых) занимался починкой электроплитки (совершенно на него непохоже!) и что ему удалось ее починить (!), и все были довольны. Он даже уверяет, что на этой плитке был вскипячен чайник и что чаем нас все-таки напоили...

С чем — это другой вопрос...

А пишу я это все к тому, как иногда стойки бывают эмоции! Ведь кредо у Коли: «я запоминаю только то, что меня интересует». Но тут!.. Непонятный феномен!

Ну, кажется, теперь все выяснено и отношения между моей любимой сестричкой и мужем будут желательными. Уф! Надеюсь на это!

Мы с тетей Марусей в свое время поломали-таки голову: зачем понадобилось супругам Полосиным (родителям Ленушеньки) так надежно спроваживать ее на целый день? Видимо, они хорошо знали свое чадо и решили, что осечки не будет. В том смысле, что она сумеет нас уговорить, и мы до вечера не вернемся. Следовательно, они останутся вдвоем. Тогда мы с Марусей так и не смогли решить этот вопрос. Но недавно, уже

сама Ленушенька ответ подсказала: им просто захотелось «помолодожонствовать» — не всё же нам одним! — дурной пример заразителен... А комната-то у них — одна!

Вот и разгадка!..



Н.В. Турбин

Как я узнала о начале войны? Была, как обычно, в маршруте (почему-то одна), зашла в ближайшую избу напиться, открываю дверь — и, как в кошмарном сне: чад, шум, гам, изба полна пьяных мужиков, самогонный перегар висит в воздухе, галдёж — ничего не понять! Я, конечно, попятилась и тут услышала: «Война, Гитлер на нас напал», — и поняла, что все они уже потенциально мобилизованы — это было 22 июня, а 23-го люди уже отправлялись на фронт...

Работы наши продолжались. В очередные приезды мне в Москве сообщали, что была на улицах учебная тревога — люди в противогазах хватали прохожих, несли на носилках в убежище. Все возмущались, а я радовалась, что я не в Москве.

Но вот в конце июля — числа 27-28-го приехал в Серпухов Николай Васильевич, хотя день был рабочий, и сообщил мне, что надо готовиться к эвакуации, что его учреждение, Ботанический сад Академии Наук СССР, должен ехать в Ашхабад, и мы едем. Я стала без особой радости закруглять дела.

Уволилась я с работы где-то 1-го августа, но куда мы не уехали — Николай Васильевич подлежал мобилизации, в отличие от кандидатов наук (а он был док-

торант), не имел брони, и ему надо было в Москве ждать повестку.

Мы поселились на Малой Бронной улице, дом 18, комната 415, где до этого, в аспирантском общежитии жил Николай Васильевич — теперь мы оказались там вдвоём, молодоженами.

И — странное дело! — как-то не очень чувствовали всю трагичность окружающей ситуации. Москву уже бомбили — первый, настоящий налёт был 22 июля, но и ему вначале не поверили — сочли за учебную тревогу, говорили, что зенитки отогнали самолёты от Москвы (я была в то время ещё в Серпухове). Теперь же, с наступлением темноты, налёты стали почти ежедневными. То там, то здесь вспыхивали пожары, оказывались разбомблёнными дома. Так, у Никитских ворот, взрывной волной снесло памятник Тимирязеву. Его, правда, моментально восстановили, и остряки даже пустили слух, что это артист Черкасов загримировался и стал на постамент...

Работали театры, жизнь шла своим чередом. Николай Васильевич поднимался ночью по тревоге на крышу дома, сбрасывать зажигалки, тушить пожары. Я в то время оставалась и дожидалась его дома, не шла в бомбоубежище.

Днём он ежедневно бывал на работе в Ботаническом саду — какая-то часть сотрудников ещё не уехала и он закруглял дела.

Мне нравилась необычность обстановки. На первых порах приятно было свободное время, на работу не идти — и я увлеклась созданием нехитрого уюта для нас, приготовлением обеда — тогда ещё не ввели карточки, что-то можно было покупать на рынке, я при расчёте получила деньги за отпуск — в общем, мы относительно «шиковали», несмотря на то, что у Николая Васильевича в это время украли полученную им за три месяца стипендию. И опять-таки, захваченная личной жизнью, её новизной, я была непростительно счастлива — море мне было по колено... Тогда многие были убеждены, что война продлится 2-3 месяца.

... После отъезда мамы в Магнитогорск к брату Феде мы поселились на Арбате, (где я жила до своего замужества). Теперь мы оба включились в команду ПВО и каждую ночь дежурили на крыше. Там же были мы и в момент падения крупнокалиберной бомбы на дом 35 по Староконюшенному переулку (наш дом был 47). Нас чуть не снесло с крыши — удержались за трубу. Было жутко, но весело в тот момент... Такое было бесшабашное настроение — чем хуже, тем лучше — и всё трын-трава...

В нашей арбатской комнате от этой взрывной волны выбило все стекла и выворотило рамы, — но в то время ещё стояли теплые дни, и нас все это не очень тревожило.

Жили бездумно; правда, постепенно стало труднее с продуктами, ввели карточки, доходили тревожные

вести с фронтов, знакомые теряли близких — все это отбрасывала как-то защитная реакция эгоизма молодости — сознание, что молодость дана однажды и ничем её не вернешь... И омрачать её не хотелось. Конечно, это была политика страуса, прячущего при опасности голову под крыло... «Только бы выжить» — стояла одна мысль в сознании.

16 октября 1941 года — день особенно запомнился. Утром нас разбудил стук в дверь, и мы увидели бледного, трясущегося Бачелиса — нашего соседа по квартире. «Немцы прорвались под Вязьмой и через два часа они будут в Москве», — пролепетал он.

Мы и эту новость приняли как-то спокойно. Я почему-то стала надевать на себя все свои платья одно на другое — и мы вышли на улицу. Вот уж где можно было увидеть много интересного! Люди бежали; везли тележки, груженные домашним скарбом, детьми. На шее у многих висели круги колбасы, связки баранок. Магазины попросту растаскивали, — вот-вот в Москву войдут немцы... Началась паника, но почти все наши соседи по коммунальной квартире на Арбате уехали ещё раньше. Осталась в квартире Паша — домработница многочисленного семейства Вольберг, уроженка Рязанской области; Николай Иванович — рабочий, и мы вдвоём. Но почему-то были уверены, что ничего плохого не произойдёт.

И действительно — 20 октября 41 года было введено в Москве осадное положение со всеми вытекающими отсюда последствиями, а третьего ноября была получена повестка о мобилизации Николая Васильевича, и четвертого ноября я проводила его на призывной пункт в районе Новослободской. Снарядила его хорошо, одела я на него овчинный тулуп, который был у нас дома ещё со времен первой мировой войны (принадлежал, кажется, дяде Сереже). Оказалось, что очень кстати, так как ему пришлось идти пешком — вести команду глубоко в тыл, в Цивильск — шли два месяца; уже стояла зима, приходили редкие открытки с дороги — и было удивление — почему туда?

Николай Васильевич был в то время младшим лейтенантом танковых войск. Судьба слепа и в данном случае была счастливой. Я осталась на положении солдатки.

Давали знать себя наступившие холода — в комнате невозможно было согреться, даже положив на себя два-три матраца. К тому же на горизонте замаячила Любочка — и я была в отчаянии, решила уехать к маме в Магнитогорск, стала готовиться к отъезду... Но уехать мне было не суждено — меня провожала тетя Нюта, увидела, что у меня жар, и увезла к тете Марусе, в её комнату в Новоконюшенном переулке, где и она жила в

то время с тетей Марусей и десятилетним Сережей, её сыном. И осталась я у них жить.

Не помню уже, долго ли я тогда проболела. По-видимому, это была простуда, осложнённая нервным потрясением. Очутившись в тепле (диван, на котором я спала, помещался вдоль кафельной печи — у них топили дровами), в уюте домашнего очага и привычного уклада — уж что-что, а это тетя Нюта создать умела — я как-то быстро оттаяла, пришла в себя. И потекли очень даже уютные дни и особенно вечера. — насколько они могли быть таковыми в условиях усиливающихся холодов, недостатка продуктов, ежедневных многократных бомбежек.

Но так сильно у человека стремление к уюту, к налаженному быту. Что даже в гораздо худших условиях, чем тогда у нас, старается он это осуществить!..

Днём я старалась не задерживаться и, проглотив что-нибудь наскоро, уходила бродить. Брела знакомыми переулками на Арбат, на пепелище моей беззаботной жизни, посмотреть — нет ли писем от Коли. От него приходили редкие открытки, непонятные, странные — он вёл команду по бездорожью, по глухомани куда-то на восток (оказалось — в Цивильск: он указал в одной из открыток этот пункт — и я писала ему туда «до востребования»). Как жаль, что эти письма не сохранились — вот где запеклась кровь событий! (А.Герцен).

Улицы вокруг были пустынные, неузнаваемые, витрины магазинов почти доверху завалены мешками с песком, окна в домах заклеены крест-накрест бумажными полосками. Редкие прохожие, нелепо укутанные (стояли сильные морозы!), брели озабоченные — где бы что достать. Эта же мысль владела и мною. В желудке урчало, но в магазинах было пусто, безрадостно — уже ни о каких «корешках» помину не было (то есть получить что-нибудь сверх талонов). Всё было строго нормировано, но это не значило, что можно было подойти и «отоварить» свой талон — надо было ждать, чтобы «объявили». Делалось это обычно через газету и не с первого числа месяца, а с 10-11го числа объявлялось, скажем, 300 гр. крупы, 150 гр. мяса (сухой омлет или яичный порошок), 100 гр. жиров — и будь здоров! До следующего объявления. Крупа — крупой, жиры — лярд или маргарин, о мясе и думать забудь. Давали суфле — бурдичка коричневого или белого цвета, — уже забыла, вместо чего.

Не помню уж, почему однажды я очутилась в метро «Комсомольская». Старалась бродить где-то подольше, чтобы вернуться домой попозже. Воздушные тревоги меня не смущали. Их объявляли в течение дня неоднократно, и все спешили в ближайшее бомбоубежище. Мне это всегда удавалось избежать. Даже угрозы дежурных ПВО, милиционеров — не действовали. Не шла — и всё. В метро я забрела скорее всего по-

греться. И вдруг, пробираясь сквозь толпу, я увидела переносной лоток (торговую точку — теперь бы сказали), заполненный самыми разными бутербродами. Я протерла глаза — не во сне ли это? Нет: лежат самые настоящие ломтики белого хлеба с чёрной и красной икрой, копчёной севрюгой, семгой, ветчиной. Народ робко обходит стороной, подходят лишь единицы. Все отвыкли от такой роскоши и, видимо, недоумевают — что же за неё потребуют взамен? Оказалось — на 100 гр. талон хлебной карточки можно взять два бутерброда ну, и соответственно заплатить — какие-то копейки.

Карточки были со мной, я поторопилась их отоварить сколько возможно и уже пулей понеслась домой. Не скрою, мне хотелось тут же, не сходя с места всё уничтожить, но всё-таки порядочность взяла верх. Дома мое появление произвело сенсацию. Сели пить чай, поцарски угощаться бутербродами. И все недоумевали — каким образом такая роскошь на фоне всеобщего оскудения? Я запомнила время и место торговли — и на завтра, задолго до заветного часа заняла наблюдательный пост в метро «Комсомольская». И действительно, вскоре появилась продавец в белом халате, нелепо напяленном поверх многочисленных одежек, с корзиной в руках и лотком подмышкой. Я бросилась к ней. С сожалением отметила, что одновременно со мной ринулись в том же направлении ещё несколько человек. На этот

раз лоток мгновенно опустошили, и я, опять, счастливая, понеслась домой.

С каждым днём получить заветную добычу становилось всё труднее, и скоро, очень скоро это великолепие иссякло. Однажды приехала я раньше обычного, проторчала очень долго — и всё напрасно. Лотошница не появилась. Я устала, а возвращаясь домой, ещё и продрогла, проголодалась. Есть хотелось по-страшному, но ни утолить голод, ни даже элементарно согреться не удавалось. Было состояние голодного озноба. Но приходила тетя Маруся, рассказывала новости, вносила свежую струю и мы уносились в иной, прекрасный мир — садились читать вслух «Дон-Кихота».

Как сейчас вижу эту книгу в руках у тети Маруси — небольшой, очень приятно изданный томик издательства «Akademia» с прелестными иллюстрациями и изысканным шрифтом! Читала она замечательно; забыть можно было всё на свете! Помню, хохотали необычайно, дойдя до места, где герой снимает панталоны и... «открылись такие подробности...». Больше всего нравилось Сергею. Подумать только, а за стенами их деревянного домика выла сирена, грохотали зенитки, время от времени стёкла дрожали от упавшей где-то бомбы. Но мы не двигались с места. Наш уют был надежным оплотом против всех бедствий. Торшер под большим зелёным абажуром (еще дореволюционный, из обста-

новки Беляева), рояль с вышитой салфеткой, диван у теплой печки, люстра. Временами, наверно, читала и я; тетя Нюта сидела и что-нибудь штопала, Сергей иногда что-то мастерил из конструктора. Тетя Маруся, освободившись от чтения, рукодельничала; иногда садилась за рояль и пела под собственный аккомпанемент... Она работала в это время в библиотеке Театрального института (ГИТИС), расположенного, как и сейчас, в Собиновском переулке.

Время не стояло на месте; вечера наши были заполнены мирными занятиями в уютной обстановке, казалось, что самый тяжелый момент войны, осадного положения, миновал. Немцев отогнали от Москвы и у всех появились надежды на лучшее. Больше всего давал себя чувствовать пустой желудок. Это не был, конечно, голод блокадного Ленинграда, но сказывалась длительная скудость питания. Меня мучил вопрос моего иждивенчества в семье тети Маруси. Ходила и пыталась устроиться на работу. Рабочая карточка тогда была пределом мечтаний.

В своих поисках я как-то набрела на объявление «требуется дворник» (это было в районе 1-ой градской больницы); все документы были при мне, я отыскала коменданта здания, изложила суть дела. Вид у меня, наверно, был не очень подходящий. Старое зимнее пальто, какая-то шапчонка, сверху, для утепления, подвязанная старым платком. И лицо, от которого никуда

не уйдёшь. Короче говоря, доверия я не вызвала. А когда у меня из сумки выпал диплом инженера — участь моя была решена. Не подошла. А мне так понравилась маленькая теплая каморочка с окошком, пушистый снежок во дворе...

В другой раз, помню, в районе Арбатской площади объявлялся набор на курсы шоферов грузовых машин (обещалась рабочая карточка!). Зашла туда и совершенно растерялась. Шум, гам, смрад. И такой я себе показала старой и усталой среди зелёной, полнокровной, все больше женской молодёжи. Не решилась даже обратиться. Требовалась справка о здоровье, мое состояние не осталось бы незамеченным...

По утрам вставать не хотелось, чтобы подольше не захотелось есть. В одно такое утро я досыпала на кровати тети Маруси (видимо, перебиралась туда с дивана, когда она уходила) и, как сейчас помню, видела сон — большая рыжая собака бежит с горы и бросается радостно ко мне. И в этот же миг, просыпаясь под звук хлопнувшей входной двери, я слышу неистовый крик Сергея: «Таня — Николай Васильевич! Таня — Николай Васильевич!». Первая мысль: «Вот паршивец, надрать бы ему уши за розыгрыш», — и вдруг действительно входит Коля. Целый и невредимый, румяный с мороза, в знаменитом черном полушубке... Всё как в сказке... Два месяца он шёл до Цивильска пешком с командой, сдал её там в военкомат и был откомандирован в

Москву, в распоряжение здешнего военкомата. Доехал за один день. Все письма мои получил, но все-таки зашел на Арбат и, не найдя меня там, прямо сюда...

Трудно передать словами радость, невероятность этой встречи.

Это было шестого января 1942 года.



Н.В. Турбин, муж Т.В. Залеской

ИЗ МОСКВЫ В АШХАБАД И ЖИЗНЬ В АШХАБАДЕ

Рождение ребенка — событие всегда радостное, но в отношении появления на свет Любы и нашего приезда в Ашхабад было очень много драматического.

... Выехали мы из Москвы 13 февраля 1942 года в тот момент, когда многие уже возвращались из эвакуации. После того, как Колю демобилизовали из армии для работы по гражданской специальности, мне казалось, что это насовсем. В действительности это было далеко не так — надо было получить бронь в учреждении, в котором он работал (в данном случае — в Московском ботаническом саду АН СССР, где он был докторантом). А на эту категорию бронирование не распространялось... Всё это я узнала потом, а пока... с легкомыслием молодости и ни о чем не думая (по крайней мере я), мы, окрыленные, отправились в новые края, в новую жизнь, по сути дела — в свадебное путешествие...

Ехали с удобствами, даже по теперешним понятиям — четырёхместное купе, чистый вагон. Соседом нашим был некто Михаил Николаевич, не то из военных, не то из ещё более таинственных сфер...

У него был прекрасный тенор и он с большим чувством исполнял романс « На заре ты её не буди, на заре

она сладко так спит»...С тех пор, когда я слышу этот романс, набегают воспоминания этой поездки.

На остановке мужчины бегали за кипятком; иногда удавалось даже раздобыть что-нибудь спиртное, и тогда это был настоящий пир. Разговоры, пение, шутки... Но так было только до Ташкента. Дальше нас ожидала пересадка, жуткий ташкентский вокзал и привокзальная площадь, вся запруженная народом. Воры кишмя-кишели; у меня через плечо была надета полевая сумка с документами и деньгами. Так вот, прямо на мне её без конца расстегивали и приходилось отбиваться...

В Ашхабад мы прибыли 5 марта 1942 года. Пахло весной, всюю уже шли полевые работы. Все это вселяло какие-то надежды на будущее и даже забывалось, что где-то идёт жестокая, кровопролитная война...Жуткое впечатление на меня произвело наше появление среди коллектива Колиного учреждения. Гробовое молчание... Ни одного приветливого слова, ни одного симпатичного лица. По всему было видно, что они нас не только не ждали, но что появление Коли как-то разрушало их планы...

Я ждала ребенка в июле. И в этот момент особенно нуждалась в приветии и ласке. Ничего, кроме неприязни, я не увидела. Нас поселили во дворе дома, где жили почти все сотрудники с семьями, в сарайчике, состоящем из двух комнат, разделённых коридором. В

комнате напротив жила чета Озолов с котом Пушончиком. Сарайчик был когда-то складом, для жизни мало приспособлен — имел железную крышу, что по ашхабадскому климату вообще было погибелью.

Спать можно было только завернувшись в мокрую простыню. Десятого мая, гуляя в Ботаническом саду своими глазами видела на термометре +45 градусов С в густой тени шелковицы. Коля ходил ежедневно на работу — учреждение его помещалось в здании туркменского Филиала АН СССР на улице Пушкина.

Было решено, что до родов мне устраиваться на работу нет смысла. Я пользовалась разгаром южной весны, теплом, солнцем; были и кое-какие гастрономические радости после голодной Москвы. Однажды удалось купить баранины у армян —около двух килограммов. Это была большая удача, так как тут было принято покупать целыми баранами. Их приводили живыми туркмены из кишлаков; и, конечно, нашлось кому исполнять роль посредников. Так или иначе, баранину раздобыли. Что с нею делать, как готовить? Я бредила запахом жаренного мяса. Коля сказал —сварить... Была ссора, слёзы. Как ели эту баранину я что-то и не помню.

Помню, идя в сторону базара по нашей улице Жуковского, наблюдала сцену: мужчина, несет что-то перекатывающееся по дну мешка. Навстречу приезжий, эвакуированный люд. Бросаются к мужчине с мешком:

«Беру. Всё беру!» — не спросив даже, что в мешке и сколько стоит. Я посмотрела, пришла домой в слезах. Как раз перед нашим приездом в Ашхабаде тоже исчезло все, что можно было купить не по карточкам.

Вещей мы везли с собой очень много — уезжали, как насовсем, и совершенно не представляли — к чему вернёмся? Везла я даже деревянное корыто — купать ребенка; но оно рассохлось от жары. Была со мной швейная машинка, посуда, постельные принадлежности и, поскольку мы выехали из Москвы зимой, тёплые вещи: зимние пальто, валенки, всё мало-мальски ценное. Нашла у мамы несколько золотых монет царской чеканки. За одну десятирублёвую монету мне одна милая дама — посредница устроила баночку сгущённых сливок — через Ашхабад шли из Ирана грузы (продукты) в помощь СССР. Но я забегаю вперед — это было уже после рождения Любы.

Так и шли мои дни — последние месяцы беременности. Мне было непривычно без умственной нагрузки; я попыталась переводить научные тексты с английского для Коли, но он как-то очень скоро отверг мою помощь. Его сослуживица, доктор биологических наук Н. А. Базилевская, переводила и быстрее, и квалифицированнее меня.

А гроза надвигалась, и гром не преминул грянуть. И тем сильнее поразил он меня, чем меньше я была к

нему подготовлена. Ранним утром в конце мая, в двадцатых числах разбудил нас лай Валетки — черной дворовой собачки. Незнакомый мужчина с полевой сумкой разыскивал Колю — вручить ему повестку в военкомат... Конечно же, возврат к гражданской специальности предполагал бронирование, а в планы его шефа академика Б. А. Келлера это не входило (докторантам не полагалось брони. А кандидатам наук — полагалась). Вот всё и кончилось... Через два дня я, зарёванная, в только что сшитой из белого полотна в полоску специальной свободной блузе, провожала на вокзале Колю в Чарджоу. Его направляли в пехотное училище со сроком обучения три или четыре месяца.

Перед глазами кадр — не в мою пользу. Воображаю, как я выглядела с ним рядом. Среди окружавших его таких же бритоголовых, но более молодых новобранцев. Он уговаривал меня вернуться, не дожидаться отхода поезда. Но я пробыла до конца. Помахала высунувшемуся Коле ручкой. Мне было не до того, чтобы ловить на себе насмешливые взгляды его спутников. Положение мое после Колиного отъезда в Чарджоу оказалось незавидным. Средств к существованию — никаких. Карточка иждивенческая. Надо было срочно что-то предпринять. Кто-то посоветовал сходить к Келлеру — он был в это время Председателем Туркменского Филиала АН СССР. Возит мой был крайне неудачным. Я

пришла к нему домой, застала его по-домашнему, полураздетым (трусы на старческом теле и длинная белая борода); разговаривал он со мной крайне грубо, — «Зачем вы пришли? Я ничего не могу для вас сделать».

Зашла как-то к Асе, застала у неё плотного мужчину средних лет, которого она называла дядей. Увидела у неё поразившую моё воображение большую банку с топлёным маслом. Были и фрукты, которыми она меня угостила, дала с собой.

Каким-то образом доползла я и до Ботанического сада в Кеши. Около четырёх километров от города, где у нас был огородик. Там нашла — о, чудо! — несколько некрупных кабачков. Как они выросли без полива? Очень они меня выручили.

Но всё сходилось так, что надо идти и устраиваться на работу. И где-то с 1-го июня 1942 года я начала работать у Владимира Николаевича Кунина. В.Н. Кунин — ленинградец, сталинский докторант (была такая категория), заведовал отделом гидрогеологии Туркменского Филиала. «Ставок у нас нет, — сказал он, — но люди нужны. Я вас оформлю по безлюдному фонду». Я была совершенно счастлива. Работать с ним было очень интересно; сам с искрой Божьей, он и сотрудников ценил за инициативу. Ещё не растеряв институтские знания, я с большим рвением взялась за дело. Общая тема, как мне помнится, это изучение гидрогеологии Между-

речь Теджен — Мургат, ну и перспективы развития прилегающих районов, так как вода в Туркмении — это всё!

Как мне стало интересно жить! В отделе работали в основном местные сотрудники и отнеслись ко мне по-разному (конкурент все-таки!); но Кунин своей внимательностью и доброжелательным отношением искупал всё. Как он всполошился, когда я то ли немного поскользнулась или пошатнулась, — «Не надо ли вызвать скорую? Как вы себя чувствуете?». Мне кажется, с ним я бы могла сработаться и из меня мог бы выйти толк даже в гидрогеологии, так как, что греха таить, в геологию я попала случайно, не по призванию...

Почувствовала я себя впервые на своих ногах, полностью в ответе за свою судьбу и за судьбу будущего ребенка, который всё настойчивее давал о себе знать... Теперь у меня был режим. Надо было тщательно следить за собой и выглядеть мало-мальски прилично, хотя жара порядочно вступала в свои права, и было очень тяжело. Десятого июля — запомнила на всю жизнь! — шел дождь, и день был пасмурный! Это было как праздник! В отделе был сотрудник, некто Меднов; ещё молодой, он ходил едва-едва с палочкой и жаловался, что ноги у него «скулят». Так вот, он в открытую плакал, когда его родила двойню, двух мальчиков...

Последний раз я была на работе 14 июля — проработав у Кунина по «безлюдному фонду» полтора месяца. Он ещё заставил меня написать обобщение по перспективам развития исследуемого района. Тогда я роптала — это было тяжеловато. Но как я потом была ему благодарно: ведь это так важно быть в строю, быть нужной, держаться! А тем временем мне передавала Мария Дмитриевна Культиасова, которая дружила с его женой, что Кунин очень лестного мнения обо мне и даже назвал «талантливой»... Всё это было приятно, но, увы. Не ко времени... Ничего из этого не вытекало... На фоне моего увлечения работой у меня довольно незамеченными прошли телеграмма, а вслед за нею и приезд Коли из Чарджоу — приехал он где-то в середине июня «в краткосрочный отпуск».

Наступило для меня счастливое время; я работала, работа была интересной, захватывала и, кроме того, я чувствовала себя «главой семьи», кормильцем.

Коля, приехав из Чарджоу в краткий отпуск, пытался перевестись в Харьковское Военно-Медицинское училище, которое находилось в Ашхабаде, в Кеши. Конечно, это училище не шло ни в какое сравнение с пехотным, что в Чарджоу. Мы очень переживали — удастся ли это? И в то время, пока я была на работе — Коля пропадал в различных инстанциях, организуя перевод. Был он вроде как на нелегальном положении, карточек

не получал, и мы питались, используя мои на хлеб и что там еще полагалось минимальное, а главным образом, покупали на базаре дыньки — маленькие, круглые «колхозницы» — они были очень вкусные, и это вполне нас устраивало. Я воспряла духом, настроение было приподнятое.

Но опять предстояли перемены: после долгих хождений по учреждениям — наконец, перевод удалось оформить и надо было расставаться — ему предстояло жить там, в казармах, и видеться часто мы не могли, — и расстояние нас разделяло, и военный порядок не разрешал. Наступило утро, когда мы должны были расстаться — на неопределённое время, учитывая, что мне предстояло отправиться в родильный дом с непредсказуемыми последствиями, а ему — определиться в казарме насовсем.

Дела на фронтах войны были в это время очень плохи, и училищу предстоял ускоренный выпуск фельдшеров к отправке на фронт. Расставания и встречи — о, радость: придти домой и застать Колю! «Опять не обмундировали», — вот фраза, сопровождающая его появление. Моя безмерная радость — и новое утреннее переживание. Конечно, мы каждый раз с радостью переживали отсрочку в разлуке; великое дело были эти несколько часов!...

Но всему приходит конец — и, в то самое утро 14-го июля, в которое я последний раз должна была быть

на работе, мы расстались и больше вечером не встретились... И я поняла, что наконец «обмундировали». Эти дни были очень тяжелы. После необходимости ходить на работу — опять никуда не идти из своих четырёх неудобных, нестерпимо жарких стен. Хотя ходить, просто ходить по такой жаре было очень тяжело, но я с радостью ухватилась за приглашение в одно семейство в гости. Дело в том, что ко мне зашел только что приехавший из Чарджоу Колин однокашник по училищу (он, кажется, был освобождён от воинской обязанности из-за плохого зрения). Не застав Колю и узнав где он, передал привет, а меня пригласил на день рождения его жены.

Все было очень мило и семья его жены — мать, отец — меня очень тепло приняли. Но, то ли от непривычного обильного застолья, то ли от съеденного ещё днём винограда, у меня вдруг, уже по дороге домой сильно разболелся живот...

И невдомек мне было, что это и были ранние предвестники схваток... К счастью, все же поняла я, да и соседка по дому подсказала, что надо мне отправляться в родильный дом.

Очень кстати проводить меня туда вызвалась Мария Дмитриевна Культиасова. И мы поздним вечером, уже около полуночи добрались до соответствующего учреждения, расположенного по улице Первомай-

ской, 115. Было это вечером 16-го июля, а к утру, на рассвете, в четыре часа тридцать минут Люба появилась на свет...

Можно было бы исписать целые вороха бумаги, чтобы передать чувства женщины при появлении на свет своего первенца! Но не буду отклоняться от своего конспективного стиля — излагать только факты: настало воскресенье 19 июля — яркое, лучезарное, душное — ашхабадский день в самом зените лета.

... И со второго этажа, одетая в грубую, бязевую, мужскую нижнюю рубашу, залатанную в самых неподходящих местах для кормящей мамы — царапала грудь невероятно; повязанная ниже талии простыней сомнительной чистоты, в пятнах и подтёках, едва передвигая ноги и таясь (ведь без разрешения!) — спустилась она в некое подобие садика, где на ступеньках лестницы её ждал он — и это было их первое свидание в новом качестве...

У неё исчез живот — осталась просто фигурка-палочка в одном измерении; а он — счастливый, что всё благополучно обошлось, бритоголовый, загорелый, курсант медицинского училища, молодой отец... Счастливый он был ещё и потому, что в записке, которую отнесла к нему в Кеши Ася, он, вместо слово «девочка», прочёл «двойня»...

Дни в родильном доме прошли как в счастливом плавании — вне времени и пространства. Это было как

чудо — ни осложнений, ни неполадок, всё шло нормально, спокойно, благополучно. У некоторых моих знакомых по палате дети болели, сами матери мучились трещинами сосков, а то и маститами. А мне было так хорошо, что я только и хотела побыть в роддоме подольше. Никто меня дома не ждал. Проведать меня приходили из нашего двора жены сослуживцев Коли и Ася — вот уж когда я оценила мамино: «Свет не без добрых людей». Ольга Владимировна Даева принесла целую корзину винограда. Молока вполне хватало.

Подошел день выписки. Как-то так получилось (или она сама вызвалась?), что пришла за мной дочь Культиасовых Галя, девочка девятиклассница.

Детская сестра несет ребенка на выписку, надо передать ей детское приданое. А я вижу в дверях Галю, которая радостно машет моим любимым маркизетовым платицем под девизом «березка» — ничего, кроме этого платя она не принесла... Ну, тут, конечно, отругали меня как следует. И Галя, и я плакали, ребенка пришлось нести обратно в детское отделение, час выписки прошел, и всё пришлось отложить. И на другой день, в положенный час, с узелком приданого для ребенка и свертком одежды для меня появилась моя спасительница Ася!

Положили ей на руки сверточек со спящим ребенком, и мы пошли; путь был не близкий, и я почувствова-

ла, что идти мне нелегко. Много раз останавливались. От жары, наверное, заплакала Люба (собственно — была ли она в это время уже Любой? И когда мне пришло в голову так её назвать?). Сейчас и не припомню. Ещё во время пребывания в роддоме Ася, наряду с передачами принесла мне длинный список имён для моей дочки. Которые они с девочками-медсестричками придумали. Были там: Элеонора, Изабелла, Аврора, Алина. Мне не хотелось их обидеть, но почему-то не влекли меня эти вычурные имена.

... Добрались, наконец, мы до нашего обиталища, вошли в пустую жаркую, унылую комнату. Ася положила кричащий сверточек на постель и ушла. А я горько заплакала...

... Но долго плакать мне не пришлось, — заплакал ребенок. Развернула его и пришла в ужас. Он был весь в опрелостях, и не только в паху и подмышками, но краснота и сыпь по всему тельцу, а кое-где и гнойнички были. Надо было немедленно организовать купание. Но как? Здесь чувствовалась огромная проблема.

В роддоме мне сказала: «неделю надо купать в кипячёной воде». Надо было кипятить воду и охлаждать её до 37 градусов С (при окружающей температуре 40-45 градусов С). Вскипятили: стали переливать «из пустого в порожнее», занятие нудное, ребенок беспокоен, плачет, извивается от зуда. Обычно при ребенке новорожденном хлопочут несколько женщин. Я была одна

как перст... К тому же корыто деревянное, которое я привезла с собой, от жары рассохлось. Я была просто в отчаянии от обступивших меня проблем, не знала просто, не знала, за что схватиться. Видимо, на помощь пришла Зинаида Полешко, мать двоих сыновей, женщина молодая, энергичная и умелая, хотя всего только годом старше меня. Она же, видимо, дала и какой-то таз или другую ёмкость для купания. Долго ли. Коротко ли воду с грехом пополам остудили, ребенка искупали — надо было видеть, какое блаженство отразилось на крохотном личике! Плача — как не бывало!

Села я дочку кормить... Жара 40 градусов, ко второй половине дня температура немного понизилась. Но с молоком в груди было неважно, последний раз я ела что-то в роддоме. Всё это происходило посередине двора, кормить тоже села здесь же. В помещение наше, под железную крышу просто нельзя было войти, и спали мы с ней во дворе вплоть до октября месяца, она — в коляске, я на топчане рядом. Как это ни странно, но с сентября месяца, когда я пошла на работу, жизнь как-то вошла в колею. Но первые два месяца после роддома были ужасны. Понесла я её в ясли двух месяцев отроду...

Опишу ещё один эпизод уже весны 1943 года, Любочке приблизительно девять месяцев... Мне надо пойти на базар, продать зелёный чай и купить ей буты-

лочку на молочной кухне. Бутылочка, (кефир, верис, манная жидкая каша) стоила 20 рублей, моя номинальная зарплата была 600 рублей без вычетов — с вычетами значительно меньше. Зелёный чай на базаре стоил не помню сколько, но помню только, что очень ценился местными стариками; его давали на «корешки карточек», но вот проблема — как оставить Любу?

Время было близко к полудню. Нести с собой — невозможно из-за жары и далеко. Я усадила её в низенькое креслице — суднышко в уголке, у крыльца дома, в тенёчек, привязала к стульчику и побежала. С собой у меня было две пачки зелёного чая: начатая и целая. Я так стеснялась, что пачка начата, а два старика за неё ухватились мертвой хваткой и грызутся между собой. Я в отчаянии: да прекратите возню, мне скорее продать и бежать ребенка кормить. Едва отбилась от них, получила какую-то плату (судя по реакции стариков — малую цену назначила) и бегом уже прямо домой в ужасном волнении. Вбегаю во двор и что же вижу? Любочка под палящим солнцем — за время моего отсутствия солнце передвинулось, я этого не учла — заслоняется ручонками как может, а носик её лижет маленькая собачка Валетка, несёт около неё караульную службу... Комментарии, как говорится, излишни.

СУД

Идёт дождь, небо обложено тучами, монотонно падают капли в таз (благодаря протекающей крыше), и это настраивает меня взяться за перо и изложить события в Ашхабаде, предшествующие суду надо мной, о котором я обещала написать в главе, посвященной возвращению из Ашхабада...

... В тот год, как говорили старожилы, нетипичный для Ашхабада, весь март лили дожди. Лили сутками, не переставая. И как раз совпало так, что Любочка поправилась от очередной болезни, и я не носила её в ясли — «сидела по справке». Матерям давали больничный только на три дня болезни ребенка, а дальше — справка, которая не оплачивалась. Но я была рада-радёхонька, что могла побыть с нею дома — ясли были далеко, укручивать её, уже восьмимесячную, приходилось в старое, большое ватное одеяло, нести мучительно тяжело. Кроме того, пребывание в яслях уже через несколько дней оканчивалось новой болезнью... Матери, которые ропщут на современные ясли, представить себе не могут, что такое были ясли во время войны, да ещё в городе с таким климатом, как Ашхабад, да ещё переполненные эвакуированными.

Однажды, придя в ясли на очередное кормление грудью, я получила ребёнка не сразу. Когда же её вынесли и я приложила её к груди, у меня было ощущение, что держу в руках замороженную рыбу в пелёнках — до того она была совершенно — до твёрдости — ледяной.

Но я отвлеклась, буду писать всё по порядку.

Итак, мы с нею дома, где относительно тепло: удалось наколоть саксауловых, почти каменных, дров.

В периоды Любочкиного сна я успевала сбегать на молочную кухню и за баландой в столовую, которую давали сотрудникам. Помню, перехожу улицу, всю в мутных подтёках, в своих выходных дымчатых туфельках, купленных перед войной в Москве, и думаю: какая я счастливая — сама, своими силами ращу ребенка, ни от кого не завишу, живу сама по себе!

Мне это чувство очень запомнилось. Дома я шила Любочке её первое пальтишко из покрашенных синькой маминых фланелевых панталон; наблюдала, наконец, её развитие и была вполне довольна.

Иногда меня подсасывало беспокойство — не кончилась ли уже моя справка на освобождение от работы? — но я отгоняла от себя эту мысль. Тащить Любочку в консультацию для оформления новой справки — было просто невыносимо в такую погоду.

И как всегда, беда пришла совершенно неожиданно. В институт геологии, где я тогда работала, нагрянула комиссия по проверке и обнаружила у меня прогул...

В те времена это было чревато крайне тяжелыми последствиями — по сталинскому указу отдавали под суд за 5 минут опоздания. Здесь же обнаружились пропущенные мной несколько дней.

Я почему-то надеялась, что все-таки войдут в мое положение и проявят милосердие — не тут-то было! Смягчающих обстоятельств никто признавать не хотел.

Директор Института геологии Г. Н. Горшков, молодой сравнительно человек, проживающий благополучно с женой и сыном лет шести, сказал: «Если я не отдам Вас под суд, то отдадут меня» — всё предельно ясно.

Мой непосредственный начальник, Кунин, к тому времени уже уехал. Он всегда проявлял ко мне исключительное внимание и понимание. Как до, так и после появления Любочки... Работая у него, я каждый день ходила кормить её грудью в ясли; к счастью, они были расположены недалеко. Частенько он говорил мне: «Татьяна Владимировна, не пойти ли Вам сегодня в Фонды?» — это означало, что я, после очередного кормления, могла взять ребенка и отправиться с ним домой на остаток дня. К сожалению, я не всегда могла этим воспользоваться — дома у меня, особенно в первой квар-

тире, в складском помещении, было ещё хуже и холоднее, чем где бы то ни было. То же самое он предлагал мне, слыша моё непрерывное сморкание и кашель. «Фонды» — это условное обозначение временного освобождения от работы его собственной властью. Может быть, остальные сотрудники из местных о чем-то и догадывались, но помалкивали. Авторитет В.Н. Кунина был очень высок — без пяти минут доктор, «сталинский докторант», ленинградец, умница, всю жизнь проработавший на разведке подземных вод в туркменских песках — он пользовался особым положением в республике. Поэтому, случись вся эта история при нем — он бы как-то сумел замять это дело с судом. Теперь же... мне предстояло через всё это пройти.

Не скажу, что я уж очень всё это переживала. Знай я, конечно, то, что мы теперь знаем о наказаниях за такого рода преступления (ссылку в лагеря и что ждало молодых женщин там), я бы может больше была напугана.

Но тогда моей главной заботой была Любочка, и я нисколько не жалела о проведенных с нею дома паре недель. Может быть, это позволило все-таки довести её до Москвы...

После этого я, помнится, уже не понесла её в ясли, но и вряд ли уволилась с работы совсем — меня все пугали, что тогда я не смогу ехать как член семьи; да и

рабочая карточка что-то для меня значила. Может быть, был оформлен отпуск без содержания? Хотя тогда такие отпуска не давались. В трудовой книжке отметка об увольнении 16 мая...

Совершенно неожиданно, сама процедура суда прошла довольно спокойно и благополучно для меня.

Помню чудесный, ясный день — южная весна вступила в свои права, заменив период дождей неожиданно и бесповоротно.

Я отправилась на суд с Любочкой на руках, одетой уже в сшитое мною, первое в её жизни пальтишко, сменившее старое одеяло, в которое её укрывали до сих пор.

От усталости, от жары, от прокуренного помещения её сморил сон, и она так и провисела всю процедуру суда, положив головку ко мне на плечо, в дремоте.

Хорошо, что на суде присутствовала в качестве свидетельницы наша дворничиха Оня. Её показания свелись к тому, что она подтвердила, что это на руках у меня действительно мой ребенок. «Уж как она с нею мучается — страсть», — говорила она. И то, что спящий у меня на плече — мой ребенок, а не чей-то, взятый напрокат! — и решило исход дела. Судьи поняли то, что не хотело понять начальство в учреждении, а вид ребенка и обстоятельства моей жизни, изложенные Оней, говорили сами за себя.

Судьи сделали вид, что ничего не заметили в грубо подделанной мною справке (переправила я число, по которому эта справка была выдана) и таким образом дело все свели к недоразумению — мол, дескать, администрация не заметила, что справка продлена. Просто проигнорировать сфабрикованное дело или не заметить вопиющих обстоятельств касательно ребёнка, нельзя было.

Но я по гроб жизни благодарна судье — я была оправдана, что по тем жестоким временам безусловно требовало от судьи немало мужества и человечности.

На этом волнения, связанные с судом, закончились. Надвигались другие — реэвакуация из Ащхабада в Москву — тоже немалое, как оказалось, а весьма грозное испытание, выпавшее нам с Любочкой на долю.



ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ АШХАБАДА В МОСКВУ (Резэвакуация)

Давно, давно надо заставить себя сесть, написать хотя бы основные этапы самой драматической поры жизни моей, жизни семьи. И, как всегда в таких случаях, возвращаюсь я к Ашхабаду... Недавно Любочка ездила туда, на свою родину (с 16 мая по 21 мая 1990 года), и так страшно мне было представить прожитое с нею там время, — с момента её появления на свет и вплоть до отъезда оттуда.

... Давно уже ходили слухи о резэвакуации — ещё с середины зимы. Но вот, наконец, все приблизилось, стало реальностью — хотя порой мне начинало казаться; — так и проживу я со своей доченькой в Ашхабаде всю жизнь..., выращу её, состарюсь сама — и ничего, ничего уже в моей жизни не будет...

Вся наша колония эвакуированных, проживающих на улице Жуковского, 26, пришла в движение. Обсуждались вопросы: что брать в дорогу? Что привезти в Москву? Незадолго до отъезда была снаряжена экспедиция в г. Ташауз — наиболее пробивные ловкие сотрудники были отправлены туда купить риса и масла на всю компанию.

Все ещё не очень веря в отъезд и не представляя — как же меня возьмут? — я член семьи, а главы-то нет! — и я ничего не предпринимала.

И вот однажды появился на нашем глинобитном дворе Коля, загорелый, пропылённый, с огромным букетом роз... Розы вручаются мне, в них (внутри) клочок бумаги, где его почерком нацарапано: «Я — с тобой»...

Это означало, что он демобилизован, защита его докторской диссертации утверждена, и он едет вместе со всеми, вместе со мною и Любочкой... мы возвращаемся в Москву.

Все завертелось с молниеносной быстротой. Оставались считанные дни — тут и оформление гражданских документов, тут и получение рейсовых карточек для нас, и дорожное довольствия для него (ещё как курсанта) и прочие дела. Собрать вещи тоже было дело весьма непростое.

Кроме того, было решено, что нашу комнату после нас займёт семья Контаренко (командира роты Колиной в Медучилище), и для этого они должны были поселиться в ней ещё до нашего отъезда, и несколько дней мы жили все вместе. Спали на полу, на матрацах — в одном углу комнаты мы трое, в другом они — тоже муж, жена и дочка Эллочка двух с половиной лет. Девочка последнее время сильно кашляла — и, как оказалось впоследствии, вместо предполагаемого бронхита у неё

оказался коклюш. Это чуть было не привело к трагическим последствиям — конечно же, коклюшем заразилась перед дорогой Любочка.

Надо сказать, что мне удалось немного укрепить её здоровье перед отъездом (весьма относительно, конечно). Но, после суда (об этом когда-нибудь напишу особо), я перестала ходить на работу, больше за ней следила; домашний режим сам по себе после яслей пошел ей на пользу. Жара ещё не вступила в свои права; появилась какая-то зелень, и я стремилась есть сама побольше, чтобы у меня было молоко в груди перед дорогой. На грудное кормление была вся надежда, хотя ей было уже десять с половиной месяцев. Но чем можно было кормить её в дороге ещё? Да в таких антисанитарных условиях, в которых мы ехали! Кто-то посоветовал, и я достала две банки сгущенного молока (кстати сказать, она его совершенно не выносила, не притрагивалась). Предоставлен на все учреждение был плацкартный вагон и нам достался отсек на две семьи — трое нас — Коля, я, Любочка — и ещё семья Полешко, состоявшая из молодой женщины с двумя мальчиками десяти и шести лет. Как мы в этом отсеке поместились — уму непостижимо! У всех масса вещей — тюков, корзин, чемоданов, домашнего скарба — ведь ехали в эвакуацию, как говорится «насовсем». Старший из мальчишек, Витька, казался форменным головорезом, да ещё

без конца приставал к Коле с вопросами или выкрикивал бессмысленные фразы, а ведь путешествие длилось больше двух недель — жара, пыль, скученность...

Кадр из документального фильма по названию: «Путешествие из Ашхабада в Москву» — на второй полке ближе к проходу сидит Любочка на креслице (оно же суднышко, под ним горшочек — далеко не напрасно, у неё диспепсия и всё это происходит непроизвольно) и всем приветливо улыбается и машет ручкой — а глазки у неё с самого рождения были совершенно особенные, «говорящие». Недаром соседка по палате, когда лежали в больнице с воспалением легких у неё, говорила: «Ну, и умная она у тебя! Намучаешься ты с ней — беда!».

Чтобы покормить её грудью, я становилась на нижнюю скамеечку, а она, лежа на верхней полке за сплетенной из веревок сеточкой (чтобы не упала!), должна была присасываться. Так проходило кормление. Стою, ноги затекут, молока почти нет (как приятно кормить полной грудью и как мучительно пустой!), а она беспокоится плачет, не насытилась... Чуть не плакала я сама.

Коля бегал на остановках за какой-нибудь горячей пищей для меня, чтобы хоть сколько-нибудь молока было. В его армейский котелок давали то похлёбку, то пшениный кулеш или мятую картошку, и пили чай — благословенный зелёный чай! Какой прикорм давали Любочке — не припомню. Чай со сгущенным молоком —

единственное, помимо груди, возможное (в смысле гигиены), питание она не принимала. Кашель её всё усиливался и в комбинации со стойкой диспепсией создавал угрожающую ситуацию полного истощения...

Вагон наш прицепляли к случайным поездкам, и ехали без расписания. На станциях хоть чем-нибудь можно было разжиться — пока ехали по Средней Азии население очень бросалось на чай, и давали продукты питания в обмен. Но чая было мало и однажды, увидев у нас в руках жестяную чайницу, за неё, к нашей радости, дали увесистый кулёк пшена...

Хотя поезд шел и без расписания, какие-то запланированные остановки были. Например, в Ташкенте мы провели в семействе Наталии Агаповны Линден во всяком случае целый день, а может быть, и переночевали — сейчас не помню. Но перед глазами стоит картина: Любочка, на большой кровати, на чистой, белоснежной глаженной простыне — так блаженно раскинулась, с таким довольным личиком, лежала, а затем и спала долго. После условий нашего вагона мы попали в невероятную роскошь — хотя это была всего лишь комната в примитивном доме. Но хозяева настолько радушно нас приняли! Они тоже готовились к реэвакуации, но несколько позже.

Еще не выезжая из Ашхабада мы слышали от бывалых людей: «Будете проезжать Аральское море —

запаситесь солью — она там лежит навалом вдоль линии железной дороги. По мере приближения к центру России она всё дороже ценится».

И вот это Аральское море приближалось. Вся команда мужчин в вагоне выстроилась с мешками поближе к дверям. Не помню уже — была ли это зафиксированная станция? Или просто машинист специально притормозил в этом месте? Скорее последнее. В общем, действовать надо было очень проворно. И вот мужчины, довольные, возвращаются в вагон, радостные, оживлённые, с желанной добычей.

Вдруг по вагону разносится отчаянный вопль. Мария Дмитриевна Культиасова, весьма уважаемая дама бальзаковского возраста едва только не рвёт на себе волосы и мечется по вагону. Что же оказывается? Её муж, Михаил Васильевич, старший из всех по возрасту, не успел вскочить в вагон. Отстал от поезда. Любитель поспать, он, видимо, ещё не пришел в себя как следует, когда она его растолкала (дело было утром) и чуть ли не в одном белье выскочил из вагона — да так и остался на Аральском море...

Сейчас, когда пишу эти строки, все выглядит довольно комично, но тогда все это было чревато довольно неприятными последствиями. М.В. был человек ещё призывного возраста и вполне мог быть заподозрен как дезертир. Поэтому мы все сочувствовали его жене. Об-

любовав себе Колю в качестве адъютанта, она развила бешеную деятельность. На первой же станции полетели телеграммы в Аральское море, были высланы его документы, деньги на билет и т.д. и т.д. В общем, жизнь в вагоне бурно кипела. Все жили общими интересами, как одна семья.

Но мои собственные дела, мое настроение становилось всё хуже и хуже. Состояние Любочки оставляло желать лучшего и с каждым днём всё ухудшалось. Коклюш вступил в свои права: закатываясь, она выдавала обратно даже то небольшое из пищи, что способна была получить. Диспепсия изнуряла с другого конца, она слабела не по дням, а по часам.

Апогеем всего этого мучительного путешествия явился город Куйбышев. Как и везде, железнодорожное начальство проявило к нам сочувствие и понимание, и нас быстренько прицепили к следующему на Москву поезду. Казалось, конец пути близок. Но не тут-то было! Поздно вечером, когда я в очередной раз стояла как на часах, на грудном кормлении, раздались душераздирающие женские вопли: «Голубчик. Миленький! Отцепи вагон, я на колени встану перед тобой! Отцепи!». Что такое? Ничего не понять. Но вернулся Коля и рассказал, как всё было. С таким трудом добившись прицепления вагона, начальник вокзала был возмущен требованием Марии Дмитриевны его отцепить, что страшно

зол на нас и теперь не обещает в будущем скорого прицепления и отправки в Москву. Это была катастрофа. Почему-то Мария Дмитриевна так настойчиво требовала отцепления нашего вагона, когда огромной проблемой было его прицепить? А потому, оказывается, что она ожидала, что её супруг воссоединиться с нею должен именно в Куйбышеве, чтобы в Москву въехать об руку с ним на белом коне («Учёный с мировым именем погибает», — вопила она тогда на путях). И действительно этот учёный с мировым именем появился в Куйбышеве, как ни в чём не бывало, чувствуя себя героем в нашем вагоне, который стоял на запасных путях без перспектив сдвинуться с места в обозримом будущем...

Честное слово, я до последних дней жизни в Москве не могла видеть эту Марию Дмитриевну и говорить с нею — хотя встречала неоднократно.

Что было делать, чем кормить, как поправить, поддержать хоть чуть-чуть Любочку?! Распаковали вещи. Достали керосинку. И мы с Колей отправились варить ей манную кашу, устроившись между вагонами на запасных путях...

С благодарностью вспоминаю Зинаиду Полешко — она относилась по-матерински к Любочке, с сочувствием ко мне.

И ненавидела я лютой ненавистью все эти разговоры, что вы-де молодая, у вас ещё будут дети...

И жизнь показала — такого ребенка не будет. Каждый неповторим и незаменим...

Если память мне не изменяет, в Куйбышеве простояли неделю или около того. Начальник вокзала сдержал свое слово и упорно игнорировал прицепление нашего вагона. Я не представляю сейчас, как же проходила жизнь в вагоне в чисто бытовом плане? Где кормились, где справляли нужду, где я выливала горшки, стирала белье на ребенка?.. Видимо, я настолько была поглощена её тяжелым состоянием, что всё остальное не запомнила. Помню только дикую жару, пыль, мучительную тревогу.

В Рязани, узнав предварительно о стоянке, Коля побежал домой повидаться с матерью, забрать свой выходной костюм, который отвёз в Рязань с началом войны. На этот костюм возлагались все надежды, так как его солдатское обмундирование, совсем уже стоптанные сапоги, было его единственной одеждой на все предстоящее время...

Вернулся он вместе с Анной Петровной. Так состоялось моё первое знакомство со свекровью. Глянув на Любочку, она тут же сказала: «Она у вас жить не будет», — и это, конечно, не способствовало возникновению у меня к ней теплых чувств...

В Раменском, в трех часах езды до Москвы, я подхватила Любу на руки и побежала на электричку, не слу-

шая никаких отговорок. В том числе и Колиных, что, мол, тебя без пропуска в Москву не пустят (пропуск у нас был коллективный) и т.д.

Я отвечала, держа в руках Любочку: «Вот мой пропуск». Она, бедняжка моя, едва висела у меня на руках, головка её не держалась, склонилась ко мне на плечо. И это почти в одиннадцать месяцев!

И действительно — я приехала в Москву электричкой как после загородной прогулки, прошла через турникеты метро, доехала до Арбата и вошла в нашу арбатскую комнату — так шутя, незаметно — как будто отсутствовала не полтора года, а несколько часов.

Все были дома — и мама, которая сначала зашла за ширму, а выйдя, бросилась со слезами на шею, и тетушка Анна, и Федя, которого увидев, Любочка испугалась и вскрикнула дико — он очень это переживал. Положили её в детскую кроватку, на чистенькое, помыли, покормили — все было сделано немедленно. Вызвали врача. Она так закатывалась, кашляя, что вся синела и теряла дыхание. Много было впереди тревожных дней. Но все как-то уже работало на то, чтобы она приходила в норму. Наступил желанный перелом от ухудшения к улучшению.

Мама, конечно, была очень озабочена, чтобы её окрестить — «не отдала бы душу некрещеная».

И это крещение состоялось в церкви в Большом Афанасьевском переулке; не знаю — цела ли эта церковь? Не приходилось в ней бывать с тех пор.

Страшно медленно, но пошла на поправку моя доченька! Появилась надежда, что удастся её спасти. Прикрепили её к молочной кухне, что на Арбатской площади — тогда в Москве для детей снабжение было неплохое. А уж когда удалось увезти её в Голицыно, где она отметила первый год своего существования — можно было радоваться её спасению. Там она и сделала первые шаги — в год и два месяца.

Насколько правильно я сделала, подхватив Любочку в Раменском, показало будущее. Там задержались чуть не на сутки, а по прибытии в Москву при разгрузке вагона попали под проливной дождь. Все вещи мягкие — матрацы, одеяла, носильное барахлишко — было мокрым, хоть выжми. Все это висело во всех коридорах и прихожих арбатской квартиры. Благо из жильцов почти никто ещё не вернулся из эвакуации — ни Бачелисы, ни Вольберги.

Но ещё встаёт картина в продолжение эпопеи возвращения — когда Любочке стало получше и были разобраны и разгружены все вещи — устроили пир горой! Стоял большой, длинный стол, чуть ли не во всю длину громадной арбатской комнаты, и за ним собрались, кроме всей нашей и тети Марусиной семьи, наших близких,

ещё Паша и Федора — две домработницы, брошенные бежавшими хозяевами в Москве. Был сварен рис, закупленный ещё в Ташаузе. Его было вдосталь, а поливался он щедро топлёным маслом из большого кувшина. Чувствовалось, что все москвичи тоже поели сытно (не по карточкам!) впервые за все два военных года.

На этом кончаю я ашхабадскую эпопею...

МОСКВА. ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ ЭВАКУАЦИИ

После того как выяснилось, что жизнь Любочки вне опасности и она, хоть и медленно, пошла на поправку, а я немного отдышалась после Ашхабадской жизни на голицынском воздухе, в привычной с детства обстановке, встал извечный вопрос — как жить дальше?

Начинать надо было всё с нуля. Кардинальный вопрос каждой семьи — где жить? — стоял перед нами чрезвычайно остро. Поскольку ещё в эвакуации, защитив докторскую диссертацию, Коля автоматически лишился комнаты в общежитии аспирантов АН СССР на Малой Бронной, дом 18, откуда он уехал в феврале 1942 года и где мы провели август 1941 года — наш медовый месяц. Жить было негде. Оставалась одна-единственная комната на всех. Там жили в то время моя мама (она работала в Управлении Морского Флота на Арбатской площади), брат Федя, демобилизованный из армии и собирающийся поступать в аспирантуру, и тетушка Анна, которая по-прежнему обслуживала семью тети Маруси и весь день проводила у неё, но ночевала неизменно на Арбате. В этой комнате вынужденно осели и мы трое — Коля, Любочка, и я, — молодая семья...

Что это была за жизнь — современной молодежи, когда мало для поженившейся пары собственной комнаты — им подавай отдельную квартиру! — даже не понять. Я пыталась рассказывать своим детям об этом периоде жизни и видела, что они даже не могут воспринять ситуацию.

Прожив вместе три месяца после женитьбы до мобилизации Коли и впервые соединившись после полутора лет жизни врозь, мы, естественно, стремились друг к другу, но...

Жизнь в арбатской комнате того периода была построена по спальным углам. В середине была нейтральная зона, стоял общий обеденный стол. Сначала нам отвели закуток за занавеской, но, видимо решив, что там нам будет слишком удобно жить, а мы должны как можно скорее устроиться самостоятельно — меня с Любочкой поместили вдвоём, где-то в сторонке, а Коле поставили раскладушку посреди комнаты. Так вот: лето кончилось, мы с Любочкой переехали из Голицина и началась московская жизнь.

Мало-помалу все остальные жильцы квартиры вернулись из эвакуации. Весь постоянный контингент был налицо — произошло лишь некоторое перераспределение жилплощади. В комнате при кухне вместо умершего пьянчуги-продавца Николая Ивановича поселился Бачелис (наш первый враг, знаменитый доносчик) с но-

вой женой и двумя сыновьями. Восьмиметровая комната была оборудована полатами, где спали сыновья. Но, надо сказать, он как-то попритих: в его бывшую большую комнату, соседнюю с нашей, въехал сотрудник НКВД А.И. Смирнов с женой Ниной Федоровной и дочкой Региной пяти-шести лет; с этой Региной играла подрастающая Любочка, очень её любила и называла на свой лад «Ляля-Галя»!

Когда мы с Любочкой в конце восьмидесятых зашли как-то, гуляя, в арбатскую квартиру — Арбат 27\47, угол Староконюшенного, кв. 7, — мы застали постаревшего Алексея Ивановича Смирного; жена его умерла, а дочка Регина была на работе. Мы очень жалели, что с нею не встретились, — и никого ещё из прежних жильцов или их потомков не застали. Алексей Иванович меня не узнал, а в нашей бывшей комнате, уже вместо Хабинских, с которыми наши в своё время переменялись на Зубовский бульвар, жила какая-то пожилая пара неопределённого социального положения. Они нас к себе не пригласили — да и что толку! Мы бы всё равно не увидели прежнюю нашу громадную комнату с высоченным потолком, с окнами, расположенными «фонарём», эркером, в которой и во все времена было так неудобно жить... Говорили, что Хабинские сделали в ней целую квартиру, перегородив очень удачно, и немудрено: эти люди имели не только средства, но и связи со строите-

лями и жизненную хватку. Я эту комнату перегородженной так и не видела.

... Возвращаюсь к осени 1943 года. Жизнь в квартире кипела, бурлила, была насыщена бытом до предела и, конечно, очень сложна.

Положение Коли определилось сразу. У него была работа — в своем учреждении, в Ботаническом Саду АН ССР, где директором был академик Борис Александрович Келлер — он стал заведовать отделом овощных растений или, как писали в справках «овощным отделом». Это звучало более внушительно для дельцов, но совершенно не соответствовало действительности.

Правда, у нас не переводились в зимнее время овощи, помню репу, которую страшно любила грызть Любочка и, просыпаясь, первым делом спрашивала: «Что я буду гызь» (то есть грызть).

Учреждение находилось на Большой Калужской, д.33 (теперь Ленинский проспект). В то время там помещалось всё Биоотделение со всеми институтами.

Николай Васильевич целыми днями пропадал на работе, оттуда отправлялся в Дом ученых обедать, сохранив эту привилегию за собой (можно было брать сухим пайком).

Там его однажды подозвала к себе директор Дома Ученых Мария Федоровна Андреева и, указав на его внешний вид — гимнастёрка, не новые сапоги, — спро-

сила: «Профессор, а у вас нет более приличного костюма?». У него не было; только где-то в середине зимы был получен ордер на примитивный, невзрачный, но настоящий костюм.

Мои дела обстояли сложнее. Мне осенью исполнилось всего 26 лет и, конечно, роль домашней хозяйки меня не очень манила. Очень хотелось свободы, общества людей, деятельности. На примере Н.И. Базилевской, которая имела независимое положение и жила с шестилетней дочкой Галей в нашей колонии в Ашхабаде, я про себя решила добиваться независимости во что бы то ни стало.

Обсуждался вопрос о поступлении в аспирантуру. Тогда это представлялось делом сравнительно заманчивым, довольно просто достижимым, а главное — кандидаты пеклись как блины, делались головокружительные карьеры, образно говоря — «мир не был поделён». Казалось, к этому было подведено и в другом плане — ученых подкармливали, давали дополнительные пайки, — а тогда ни о чем другом и не мечталось, как посытнее поесть. Коля, к примеру, как доктор, получал так называемый литер «Б», кроме всех прочих карточек. Даже аспирантам давали карточку «НР» (сверх основных), которую остряки расшифровывали, как «не ропщи».

Одним словом, я взялась за устройство в аспирантуру в Институт геологии АН СССР. Мне удалось это как-то фантастически просто. Мой шеф по дипломной

работе профессор Ф.П. Соваренский принял меня очень тепло, согласился на руководство. В Президиуме академик Н.Г. Бруевич, главный ученый секретарь Президиума в то время, подписал резолюцию на заявлении — и я уже читала приказ о зачислении в аспирантуру — даже без приемных экзаменов! Как это получилось — уму непостижимо! Все домашние и знакомые не могли надивиться этому.

Вот это-то неизвестно как получившаяся простота и лёгкость оказались моей погибелью... Но об этом после.

Дома новость о моем поступлении встретили неоднозначно. «А с кем же будет Любочка, кто за нею будет смотреть?» — был вопрос мамы.

Как я теперь её понимаю! Матери больше всего боятся, что их засадят с внуками, лишат личной свободы, возможности работать. В свете этого и появление внуков, и женитьба-замужество детей становятся нежелательны...

«А я-то думала, что ты займёшься домом, всех нас обошьёшь на свободе», — и это говорила мама, всегда такая поборница работы, женской независимости, умеющая отбрасывать заботы быта! Заботы, надо сказать, в то время были нелегкие. Помню себя, идущую по Мало-Каменному мосту, — лаборатория гидротехнических проблем помещалась в Старомонетном переулке, —

озябшую, продрогшую, с мокрыми ногами, обутыми в сшитые тетей Маней суконные чуни и рваные галоши, идущую так безнадежно в арбатскую комнату, где стоит «буржуйка», но больше +7 С не бывает. Любочка бежит в сшитой мною из старого сарафана «ватнюшке», совсем по типу взрослых ватников, с холодными ручонками и проголодавшаяся.

На время моего отсутствия (часа 2 в день) каким-то образом выкраивала время побыть с ней тетушка Анна. Мама бывала на работе с 9 до 17.30. Коля и Федя — тоже. Хозяйство вели общее. «Отovarиваться», то есть выкупать продукты по карточкам, надо было во всех концах города: паёк Коли — литер «Б» — выдавали на Ленинградском проспекте; остальные карточки — у всех по разным местам, овощи покупались у Калужской заставы, ныне площадь Гагарина, молочная кухня — на Арбатской площади: тогда её давали до полутора лет — Любочке был один год два месяца.

Я-то думала, что Коля, став доктором наук, частично возьмет на себя какие-то заботы и, что называется, даст мне дорогу — успешно закончить аспирантуру. Но не тут-то было! Я поняла, что и впредь мне придется со всем самой справляться, а главное — и советчиком он быть не хотел. (Как правильно сформулировала это потом Мария Павловна Богданова — он всегда был «поглощен собой», — тогда я ещё этого не понимала).

Его крылатая фраза при разговоре с мамой до нашей женитьбы: «Я Таню в кухню не запроу, я дам ей возможность учиться», — означала, видимо, что он не будет возражать против этого, — ни больше, ни меньше.

Так вот, эти пробежки по делам аспирантуры — 2-3 часа в день, в зависимости от того, когда и сколько времени могла уделить тетушка Анна Любочке — были и тяжелы, и мало результативны.

На первых порах это была подготовка к сдаче кандидатского минимума. На занятия по английскому языку (группа 4 человека, преподавала нам О.Ю. Ходак — пожилая женщина) я ездила в Отделение технических наук у Красных ворот.

Лекции по философии (кстати сказать, вместе с Федей, моим старшим братом, тоже поступившем в аспирантуру в Институт механики АН СССР) слушала в Доме Ученых (читал профессор Асмус). Самым приятным моментом в нашем «аспиранствовании» (Федин термин) был поход в столовую Н.Р, помещавшуюся на углу улицы Горького и Советской площади — там до последнего времени было кафе. Обедала в основном молодежь, многие аспиранты и младшие научные сотрудники из разных институтов АН СССР. Там была официантка Клава — очень милая, приятная молодая женщина, которая создавала нам совершенно домашнюю обстановку. У нее с Федей была явная взаимная симпатия, отблеск ее и мне доставался...

Там был директор Лещинер — тоже в своем роде выдающаяся личность. Когда в столовой, в разгар обеденного перерыва, среди снующих с подносами официанток, звона посуды на белых скатертях, жужжания голосов обедающих, он появлялся за буфетной стойкой и окидывал, подобно дирижеру, орлиным взглядом весь свой «оркестр» — зрелище было величественное...

Благодаря Клаве были в курсе всех дел работников столовой; знали, так сказать, их жизнь изнутри. Известно было, что милovidная коротышка Аллочка сделала подпольный аборт за семь (!) тысяч, а симпатичная, с лицом Мадонны, высокая официантка Маруся живет за городом и, приезжая с работы поздно вечером, застаёт своих двух мальчишек спящими в обнимку во всей верхней одежке, в выпачканных глиной сапогах. Она жила со свекровью, которая только подначивала её мужа (своего сына), чтобы он жене ни в чём не помогал.

В столовой мы, разумеется, всегда садились к Клаве, — она бывала и у нас дома, приезжала в Голицыно; взяв в руки Любочку, ахнула: «Какая она у тебя сухонькая», — но я не обижалась, за всем этим чувствовалась искренняя симпатия. Иногда, когда было мало народу, Клава по нашей просьбе подсаживалась к нам за стол, хотя и говорила: «ведь вы чином выше», на что мы, естественно, отнекивались.

Да, время «аспирантствования» — счастливое время! Несмотря на все трудности быта, недоедание, недопомогания, — почему-то все время не проходили кашель, насморк, слабость, — было радостно жить после жизни в Ашхабаде в привычной обстановке, среди родных и близких, встречать знакомых и коллег. Люди тогда тянулись друг к другу — не то, что сейчас...

А главное — никогда прежде, никогда после я столько времени не проводила с Федей, не общалась с ним... Весной 1944 года его вызвали в отдел кадров и мобилизовали на фронт; как аспирант он имел броню, но его разбронировали.

А тем временем квартирные наши дела застыли на мертвой точке. Несмотря на все хлопоты в Академии, ходатайства на всех уровнях — комнаты мы получить не могли. В то время совсем ничего не строили, и возможность получения жилплощади сводилась к занятию той, за которую уехавший в эвакуацию жилец не платил.

Вот одна из таких комнат нам и досталась в конце концов, в районе Сретенки, в Последнем переулке, дом 26. Комнатушка маленькая, 9-10 метров, на пятом этаже без лифта. Впрочем, что я пишу? Тогда вообще лифты не работали. Чужая мебель, чужие вещи. Спали мы на чужом, стоящим на полу пружинном матраце сомнительной свежести. Своего имущества у нас не было:

несколько связок книг на полу, пластмассовые миски. К Любочке приходила на несколько часов тетушка Анна. Любочка, уже бегая между этими книгами, никогда их не трогала — понимала.

В этой комнатухе мы даже встречали новый, 1944 год вместе с Федей и мамой. Они пришли к нам, я вышла их встречать — и Федя в дверях наружных споткнулся о порог... В начале 1944 года Федя распрощался с аспирантурой и был отправлен на фронт. У нас жизнь продолжалась в том же духе — я мало-помалу сдавала кандидатский минимум. Первым сдала язык; к основному, английскому, прибавился тогда и немецкий в качестве второго. Была у нас тогда чудесная преподавательница, с нею я впервые почувствовала вкус к этому языку. В школе — и в Голицыно, и в Москве — уроки немецкого проходили чисто формально: с грехом пополам прочесть текст в учебнике, кое-как перевести, а то и попросту сдуть перевод у более примерных. К тому же особой доблестью считалось игнорировать урок немецкого языка, изводить «немку» — таково было влияние прихода к власти фашизма. И вот только в аспирантуре суждено мне было постичь «секрет» немецкого языка. Именно «секрет» — она как-то научила нас тайнам понимания немецкого языка, немецкого перевода — «брать быка за рога» как это называют. Талантливая была пре-

подавательница, к сожалению, ни фамилии, ни имени не помню.

Но по-прежнему я могла уделять занятиям крайне мало времени. На время моих «побежек» Любочка сплошь и рядом оставалась без присмотра. Как-то удалось её устроить в прогулочную группу на Сивцевом Вражке на очень кабальных условиях.

Помимо платы, по тем нашим возможностям тоже значительной, ей надо было раз в неделю приносить на дом обед: она жила в Староконюшенном. Ну, а обед мне надо было отдать свой, принести в судках из столовой. И вот бегу я однажды от станции метро «Дворец Советов» (так в те времена называлась станция «Кропоткинская») по Сивцеву Вражку и вижу картину: сидит моя Любочка — ей год и девять месяцев — под водосточной трубой у самого края тротуара и перебирает камушки... Ни тети Оли, никого взрослых кругом...

Я страшно переволновалась — а она довольнѐхонька!

Правда, что уж Бог хранил её...

Жизнь в комнате на Сретенке оборвалась весьма неожиданно и достаточно драматическим образом.

Однажды, вернувшись с занятий, я застала плачущую Любочку и тетушку Анну выброшенными из комнаты в прихожую. По комнате с громкими криками нервно металась женщина, выбрасывая наши нехитрые пожит-

ки. У входа в квартиру стоял милиционер. Оказывается, вернулась из эвакуации хозяйка комнаты, уведомлённая о положении вещей своим братом, проживающим в этом же доме...

Я сбегала за такси и отвезла своих всё в ту же арбатскую комнату...

Надо было думать о жилье всерьёз — тут и дела аспирантуры отодвигались на задний план. Да и вопрос Колиной работы — уже вне Москвы — требовал решения.

Как я уже упоминала, после возвращения из эвакуации Коля был зачислен старшим научным сотрудником в ботанический сад АН СССР, где заведовал отделом овощных растений. Кроме того, он читал лекции по дарвинизму в Областном пединституте. В начале весны 1945 года обстоятельства сложились так, что это учреждение — Ботанический сад — должно было перестать существовать. Путём сложных интриг академик Б.А. Келлер оставался без руководимого им института, и сотрудники должны были устраиваться кто куда. Не знаю, будь у нас собственная жилплощадь к этому времени, может быть, Коля нашел бы работу в Москве. Но получалось так, что для того, чтобы обрести нормальные жилищные условия мы должны были Москву покинуть...

Было два предложения: в город Львов, где в Политехническом институте был биологический факультет и кафедра генетики, где ему предлагали место профессора, и в город Ленинград — тоже профессором на кафедру генетики на Биофаке Ленинградского университета.

О городе Львове, куда он отправился вначале, сложилось неоднозначное впечатление. Начальство встретило его хорошо и квартиру предлагали такую, о которой мы не смели и мечтать! Пять комнат в центре города, в чудесном доме, полностью обставленную роскошной мебелью — хозяева бежали от советской власти, бросив всё. Но... даже в сумерки было выйти на улицу неприятно; и, спросив как-то у встречного прохожего дорогу, он услышал злобное: «У-у, москаль!»... Надо сказать, что когда и мне довелось побывать во Львове уже весной 1984 года — обстановка, отношение к людям приезжим мало в чём изменились. Продавцы, служащие гостиницы — более чем неприветливы и, где только можно, на элементарную просьбу отвечали отказом, под предлогом незнания русского языка, или просто эту просьбу игнорировали.

Побывал Коля и в Ленинграде, познакомился с условиями жизни и работы там... В результате Коля вернулся в Москву окрылённый — его утвердили заведовать кафедрой и показали квартиру — три комнаты в

корпусе физического факультета, в университетском дворе, где две комнаты занимала семья Главного бухгалтеря Михаила Борисовича Эпштейна, очень милого пожилого человека, его жены и взрослого сына.

Итак — и переезд в Ленинград, и работа Коли, и квартира — все стало реальностью. День отъезда уже был назначен: 11 ноября 1945 года. Сборы были очень простыми: кроме носильных вещей нам давали два тюфяка, одно новое, золотистое, ватное одеяло, купленное только что по лимиту, предмет моей гордости; ещё какого-то старья. Несколько связок Колиных книг, которые он гордо именовал библиотекой, и большое зеркало в очень красивой матерчатой раме турецкого стиля. Везли багаж на грузовой машине; я с Любочкой сидели в кабине, Коля — в кузове. Хорошо, что нас провожали, так как в последний момент зеркало почему-то в багаж не взяли — к великому моему огорчению — и его пришлось забрать провожавшим.

... Первый завтрак в Ленинграде: мы едим вермишель из красных пластмассовых мисок, тоже предмет гордости, и Коля задает один из провокационных вопросов Любочке:

«Кто красивее: мама или Бабаня?».

Она отвечает:

«Конечно, мама. — И, подумав:

Потому, что она ест из красной миски».

Так начиналась наша ленинградская жизнь...

Шел 1945 год, только что кончилась война...







ПОСЛЕСЛОВИЕ

С раннего детства, каждый год в день моего рождения, вместо праздничных поздравлений, мне (и моим гостям) приходилось выслушивать мамин рассказ об Ашхабаде, где я родилась, о войне. Мама говорила всегда взволнованно и не очень связно, потому что начинала плакать; стыдно признаться, но были годы, когда меня это тяготило, хотелось праздника, а тут... Казалось, что я чуть ли не наизусть знаю военную одиссею родителей — Москва, Ашхабад, снова Москва и затем, почти сразу после окончания войны — Ленинград, где семья наша прожила до 1955 года. Но когда мама нашла, наконец, время, записала свои рассказы последовательно и во всём объёме, прочитанное просто поразило — открылось, что причастность людей её поколения к великим событиям истории придаёт особую глубину каждой отдельной судьбе! А также открылось, что иначе, чем Промыслом Божьим нельзя назвать ту череду счастливых случайностей, произошедших во время войны с родителями, благодаря которым я появилась на свет и вопреки ожиданиям даже близких людей — моих двух бабушек — осталась жить...

Конечно, и по возрасту пришло время оглянуться, чтобы осмыслить прошлое своё и своих ровесников —

дети, в войну родившиеся, тоже в некотором роде участники войны. Что поражает в событиях и фактах, описанных мамой, сейчас, так это именно отлаженность быта в экстремальных условиях жизни — в страшное время войны, например, то, что работали молочные кухни, сначала в Ашхабаде, затем в военной Москве. В том же Ашхабаде существовали ясли для детей эвакуированных граждан, куда принимали детей с полутора месяцев! Когда мы растили своих детей — в самые мирные семидесятые — в ясли брали только с года, и мест постоянно не хватало, и дети болели также, не меньше ребят военных, полуторамесячных! За всем этим просматривается реальная забота государства о том, чтобы и в тяжелые времена жизнь на территории страны не иссякла — есть чему поучиться тем, кто озабочен случившейся в постперестроечные годы демографической катастрофой в стране.

Удивляет так же, как быстро начинали работать эвакуированные в Среднюю Азию научные учреждения — тот же Центральный Ботанический сад и тот институт, куда незадолго до родов, как молодой специалист, устроилась работать мама. Институт был эвакуирован всего за несколько месяцев до её приезда в Ашхабад, но создаётся впечатление давно и хорошо отлаженной работы; и темы, которыми занимался институт геологических проблем, были далеко не военными, не преследующими сиюминутную пользу, а те, которые сейчас

именуются фундаментальной наукой, то есть в то время наука могла себе позволить работать на будущее: исследовать водоносные слои на территории Туркмении.

И работы эти — задумайтесь! — финансируются государством во время войны! Как надо было при этом верить в победу, какая высокая степень организованности жизни общества на всех уровнях просматривается в этих отдельных, казалось бы, частных фактах! А расселение эвакуированных на территории республики? Не более двадцати лет советской власти, а полное ощущение государства как единого организма, при полном сохранении национальной самоидентификации (в описании истории с продажей зелёного чая). Да, дом был с железной крышей и в нём было невыносимо жарко летом, но оставленный без присмотра ребенок не подвергался опасности быть похищенным ни в Ашхабаде, ни в военной Москве... Подумайте и сравните с современностью.

Может быть, пора перестать усердно клеветать на эпоху, давшую нам жизнь и, не забывая о недостатках, извлечь уроки практических навыков организации быта и работы наших сограждан: это особенно важно усвоить тем, кто родился в идеологически переломные годы и кто скоро будет определять путь нашей страны в будущее.

Любовь Турбина

КОММЕНТАРИИ

Ольга Васильевна Полосина (1888-1964), жена дяди моей мамы, И.И. Полосина

Дядя Ваня — Иван Иванович Полосин (1891-1956), брат Веры Ивановны Залесской, урождённой Полосиной, профессор истории, автор книги «Социально-политическая история России 16-17-го веков», АН ССР, Москва, 1963 г.

Дядя Сережа — Сергей Иванович Полосин (1889-после 1916), брат Веры Ивановны и Ивана Ивановича Полосина, пропал без вести во время первой мировой войны

Тетья Нюта — Анна Ивановна Полосина (1886-1976), старшая сестра Веры Ивановны, мамина тётя

Тетья Маруся — Мария Ивановна Кнапп (1900-1954), младшая сестра Веры Ивановны (1900 -1954)

Серёжа — Сергей Иосифович Кнапп (1932-1988 г.), сын Марии Ивановны, и Иосифа Кнаппа (1896-1945), мамин двоюродный брат.

Ася — Ася Макаровна Арустамова (1922-1992),
— приятельница моих родителей почти со дня их знакомства, врач по специальности.

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)6

Залеская Т.В.
Страницы воспоминаний:
Проза - М.: Издательство «БПП», 2008 - 256 с.

Оформление В.Яр
Фотографии из семейного архива
Предисловие и послесловие Л. Турбина



Подписано в печать .06.208 г. Формат 70x100\32
Бумага офсетная Усл.-печ.л. 8,0 Тираж заказной

© Турбина Л.Н., 2008
© Издательство «БПП», 2008
126601, Москва, Филёвский б-р, 1, под. 11А

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО Московская типография №6
115088, Москва, Южнопортовая ул., 24

ISBN 978-5-901746-05-9